

# МАКСИМ ГОРЬКИЙ

МАКАР ЧУДРА И  
МНОГОЕ ДРУГОЕ...

Максим Горький  
**Макар Чудра и многое другое...**

«Public Domain»

2014

## **Горький М.**

Макар Чудра и многое другое... / М. Горький — «Public Domain», 2014

Максим Горький – писатель, творчество которого казалось бы всем знакомо, хотя бы по школьной программе. Его провозгласили классиком литературы социалистического реализма и тем самым фактически избавили от всякой критики, навязав читателям определенное, восторженно-хвалебное отношение к его творчеству. Но если отбросить все то, что так тщательно внушали нам, можно разглядеть ЛИЧНОСТЬ, фигуру прежде всего интересную гуманную и страдающую. Понимание творчества Горького требует самостоятельности мышления и самых неординарных неожиданных подходов. Это поможет вам насладиться многогранностью его таланта...

## Содержание

В людях	5
I	5
II	16
III	25
IV	32
V	49
VI	57
VII	63
Конец ознакомительного фрагмента.	68

# Максим Горький

## Макар Чудра и многое другое...

### В людях

#### I

Я – в людях, служу «мальчиком» при магазине «модной обуви», на главной улице города. Мой хозяин – маленький, круглый человечек; у него бурое, стёртое лицо, зелёные зубы, водянисто-грязные глаза. Он кажется мне слепым, и, желая убедиться в этом, я делаю гримасы.

– Не криви рожу, – тихонько, но строго говорит он.

Неприятно, что эти мутные глаза видят меня, и не верится, что они видят, – может быть, хозяин только догадывается, что я гримасничаю?

– Я сказал – не криви рожу, – ещё тише внушает он, почти не шевеля толстыми губами.

– Не чеши рук, – ползет ко мне его сухой шопот. – Ты служишь в первоклассном магазине на главной улице города, это надо помнить! Мальчик должен стоять при двери, как статуя...

Я не знаю, что такое статуя, и не могу не чесать рук, – обе они до локтей покрыты красными пятнами и язвами, их нестерпимо разъедает чесоточный клещ.

– Ты чем занимался дома? – спрашивает хозяин, рассматривая руки.

Я рассказываю, он качает круглой головой, плотно оклеенной серыми волосами, и обидно говорит:

– Ветошничество – это хуже нищенства, хуже воровства.

Не без гордости я заявляю:

– Я ведь и воровал тоже.

Тогда, положив руки на конторку, точно кот лапы, он испуганно упирается пустыми глазами в лицо мне и шипит:

– Что-о? Как это воровал?

Я объясняю – как и что.

– Ну, это сочтём за пустяки. А если ты у меня украдёшь ботинки али деньги, я тебя устрою в тюрьму до твоих совершенных лет...

Он сказал это спокойно, я испугался и ещё больше невзлюбил его.

Кроме хозяина, в магазине торговал мой брат, Саша Яковлев, и старший приказчик – ловкий, липкий и румяный человек. Саша носил рыженький сюртучок, манишку, галстук, брюки навыпуск, был горд и не замечал меня.

Когда дед привёл меня к хозяину и просил Сашу помочь мне, поучить меня, – Саша важно нахмурился, предупреждая:

– Нужно, чтоб он меня слушался!

Положив руку на голову мою, дед согнул мне шею.

– Слушай его, он тебя старше и по годам и по должности...

А Саша, выкатив глаза, внушил мне:

– Помни, что дедушка сказал!

И с первого же дня начал усердно пользоваться своим старшинством.

– Каширин, не вытарачивай зенки, – советовал ему хозяин.

– Я – ничего-с, – отвечал Саша, наклоня голову, но хозяин не отставал:

– Не бычьись, покупатели подумают, что ты козёл...

Приказчик почтительно смеялся, хозяин уродливо растягивал губы, Саша, багрово налившись кровью, скрывался за прилавком.

Мне не нравились эти речи, я не понимал множества слов, иногда казалось, что эти люди говорят на чужом языке.

Когда входила покупательница, хозяин вынимал из кармана руку, касался усов и прилеплял на лицо своё сладостную улыбку; она, покрывая щёки его морщинами, не изменяла слепых глаз. Приказчик вытягивался, плотно приложив локти к бокам, а кисти их почтительно развешивал в воздухе, Саша пугливо мигал, стараясь спрятать выпученные глаза, я стоял у двери, незаметно почесывая руки, и следил за церемонией продажи.

Стоя перед покупательницей на коленях, приказчик примеряет башмак, удивительно растопырив пальцы. Руки у него трепещут, он дотрагивается до ноги женщины так осторожно, точно он боится сломать ногу, а нога – толстая, похожа на бутылку с покатыми плечиками, горлышком вниз.

Однажды какая-то дама сказала, дрыгая ногой и поёживаясь:

– Ах, как вы щечочете...

– Это-с – из вежливости, – быстро и горячо объяснил приказчик.

Было смешно смотреть, как он липнет к покупательнице, и чтобы не смеяться, я отворачивался к стеклу двери. Но неодолимо тянуло наблюдать за продажей, – уж очень забавляли меня приемы приказчика, и в то же время я думал, что никогда не сумею так вежливо растопыривать пальцы, так ловко насаживать башмаки на чужие ноги.

Часто, бывало, хозяин уходил из магазина в маленькую комнатку за прилавком и звал туда Сашу; приказчик оставался глаз на глаз с покупательницей. Раз, коснувшись ноги рыжей женщины, он сложил пальцы щепотью и поцеловал их.

– Ах, – вздохнула женщина, – какой вы шалунишка! А он надул щеки и тяжело произнес:

– Мм-ух!

Тут я расхохотался до того, что, боясь свалиться с ног, повис на ручке двери, дверь отворилась, я угодил головой в стекло и вышиб его. Приказчик топал на меня ногами, хозяин стучал по голове моей тяжёлым золотым перстнем, Саша пытался трепать мои уши, а вечером, когда мы шли домой, строго внушал мне:

– Прогонят тебя за эти штуки! Ну, что тут смешного?

И объяснил: если приказчик нравится дамам – торговля идёт лучше.

– Даме и не нужно башмаков, а она придёт да лишние купит, только бы поглядеть на приятного приказчика. А ты – не понимаешь! Возись с тобой...

Это меня обидело, – никто не возился со мной, а он тем более.

По утрам кухарка, женщина больная и сердитая, будила меня на час раньше, чем его; я чистил обувь и платье хозяев, приказчика, Саши, ставил самовар, приносил дров для всех печей, чистил судки для обеда. Придя в магазин, подметал пол, стирал пыль, готовил чай, разносил покупателям товар, ходил домой за обедом; мою должность у двери в это время исполнял Саша и, находя, что это унижает его достоинство, ругал меня:

– Увалень! Работай вот за тебя...

Мне было тягостно и скучно, я привык жить самостоятельно, с утра до ночи на песчаных улицах Кунавина, на берегу мутной Оки, в поле, и в лесу. Не хватало бабушки, товарищей, не с кем было говорить, а жизнь раздражала, показывая мне свою неказистую, лживую изнанку.

Нередко случалось, что покупательница уходила, ничего не купив, – тогда они, трое, чувствовали себя обиженными. Хозяин прятал в карман свою сладкую улыбку, командовал:

– Каширин, прибери товар!

И ругался:

– Ишь нарыла, свинья! Скушно дома сидеть дуре, так она по магазинам шляется. Была бы ты моей женой – я б тебя...

Его жена, сухая, черноглазая, с большим носом, топала на него ногами и кричала, как на слугу.

Часто, проводив знакомую покупательницу вежливыми поклонами и любезными словами, они говорили о ней грязно и бесстыдно, вызывая у меня желание выбежать на улицу и, догнав женщину, рассказать, как говорят о ней.

Я, конечно, знал, что люди вообще плохо говорят друг о друге за глаза, но эти говорили обо всех особенно возмутительно, как будто они были кем-то признаны за самых лучших людей и назначены в судьи миру. Многим завидуя, они никогда никого не хвалили и о каждом человеке знали что-нибудь скверное.

Как-то раз в магазин пришла молодая женщина, с ярким румянцем на щеках и сверкающими глазами, она была одета в бархатную ротонду с воротником черного меха, – лицо её возвышалось над мехом, как удивительный цветок. Сбросив с плеч ротонду на руки Саши, она стала ещё красивее: стройная фигура была туго обтянута голубовато-серым шёлком, в ушах сверкали брильянты, – она напоминала мне Василису Прекрасную, и я был уверен, что это сама губернаторша. Её приняли особенно почтительно, изгибаясь перед нею, как перед огнём, захлёбываясь любезными словами. Все трое метались по магазину, точно бесы; на стёклах шкапов скользили их отражения, казалось, что всё кругом загорелось, тает и вот сейчас примет иной вид, иные формы.

А когда она, быстро выбрав дорогие ботинки, ушла, хозяин, причмокнув, сказал со свистом:

– С-сука...

– Одно слово – актриса, – с презрением молвил приказчик.

И они стали рассказывать друг другу о любовниках дамы, о её кутежах.

После обеда хозяин лёг спать в комнате за магазином, а я, открыв золотые его часы, накапал в механизм уксуса. Мне было очень приятно видеть, как он, проснувшись, вышел из магазина с часами в руках и растерянно бормотал:

– Что за оказия? Вдруг часы вспотели! Никогда этого не бывало вспотели! Уж не к худу ли?

Несмотря на обилие суеты в магазине и работы дома, я словно засыпал в тяжёлой скуке, и всё чаще думалось мне: что бы такое сделать, чтоб меня прогнали из магазина?

Снежные люди молча мелькают мимо двери магазина, – кажется, что они кого-то хоронят, провожают на кладбище, но опоздали к выносу и торопятся догнать гроб. Трясутся лошади, с трудом одолевая сугробы. На колокольне церкви за магазином каждый день уныло звонят – великий пост; удары колокола бьют по голове, как подушкой: не больно, а глупеешь и глохнешь от этого.

Однажды, когда я разбирал на дворе, у двери в магазин, ящик только что полученного товара, ко мне подошел церковный сторож, кособокий старичок, мягкий, точно из тряпок сделан, и растрепанный, как будто его собаки рвали.

– Ты бы, человек божий, украл мне калошки, а? – предложил он.

Я промолчал. Присев на пустой ящик, он зевнул, перекрестил рот и снова:

– Украдь, а?

– Воровать нельзя! – сообщил я ему.

– А воруют, однако. Уважь старость!

Он был приятно не похож на людей, среди которых я жил; я почувствовал, что он вполне уверен в моей готовности украсть, и согласился подать ему калоши в форточку окна.

– Вот и ладно, – не радуясь, спокойно сказал он. – Не оманешь? Ну, ну, уж я вижу, что не оманешь...

Посидел с минуту молча, растирая грязный, мокрый снег подошвой сапога, потом закурил глиняную трубку и вдруг испугал меня:

– А ежели я тебя омману? Возьму эти самые калоши, да к хозяину отнесу, да и скажу, что продал ты мне их за полтину? А? Цена им свыше двух целковых, а ты – за полтину! На гостинцы, а?

Я немотно смотрел на него, как будто он уже сделал то, что обещал, а он всё говорил тихонько, гнусаво, глядя на свой сапог и попыхивая голубым дымом.

– Если окажется, напримерно, что это хозяин же и научил меня: иди испытай мне мальчика – насколько он вор? Как тогда будет?

– Не дам я тебе калоши, – сказал я сердито.

– Теперь уж нельзя не дать, коли обещал!

Он взял меня за руку, привлёк к себе и, стучая холодным пальцем по лбу моему, лениво продолжал:

– Как же это ты ни с того, ни с сего, – на, возьми?!

– Ты сам просил.

– Мало ли чего я могу попросить! Я тебя попрошу церкву ограбить, как же ты – ограбишь? Разве можно человеку верить? Ах ты, дурачок...

И, оттолкнув меня, он встал.

– Калошев мне не надо краденых, я не барин, калошей не ношу. Это я пошутил только... А за простоту твою, когда пасха придёт, я те на колокольню пушу, звонить будешь, город поглядишь...

– Я знаю город.

– С колокольни он краше...

Зарывая носки сапог в снег, он медленно ушёл за угол церкви, а я, глядя вслед ему, уныло, испуганно думал: действительно пошутил старичок или подослан был хозяином проверить меня? Идти в магазин было боязно.

На двор выскочил Саша и закричал:

– Какого чорта ты возишься!

Я замахнулся на него клещами, вдруг взбесившись.

Я знал, что он и приказчик обкрадывают хозяина: они прятали пару ботинок или туфель в трубу печи, потом, уходя из магазина, скрывали их в рукавах пальто. Это не нравилось мне и пугало меня, – я помнил угрозу хозяина.

– Ты воруеть? – спросил я Сашу.

– Не я, а старший приказчик, – объяснил он мне строго, – я только помогаю ему. Он говорит – послужи! Я должен слушаться, а то он мне пакость устроит. Хозяин! Он сам вчерашний приказчик, он всё понимает. А ты молчи!

Говоря, он смотрел в зеркало и поправлял галстук теми же движениями неестественно растопыренных пальцев, как это делал старший приказчик. Он неумоимо показывал мне своё старшинство и власть надо мною, кричал на меня басом, а приказывая мне, вытягивал руку вперёд отталкивающим жестом. Я был выше его и сильнее, но костляв и неуклюж, а он – плотненький, мягкий и масляный. В сюртуке и брюках навывпуск он казался мне важным, солидным, но было в нём что-то неприятное, смешное. Он ненавидел кухарку, бабу странную, – нельзя было понять, добрая она или злая.

– Лучше всего на свете люблю я бои, – говорила она, широко открыв чёрные, горячие глаза. – Мне всё едино, какой бой: петухи ли дерутся, собаки ли, мужики – мне это всё едино!

И если на дворе дрались петухи или голуби, она, бросив работу, наблюдала за дракою до конца её, глядя в окно, глухая, немая. По вечерам она говорила мне и Саше:

– Что вы, ребяташки, зря сидите, подрались бы лучше!

Саша сердится:

– Я тебе, дуре, не ребяташка, а второй приказчик!

– Ну, этого я не вижу. Для меня, покуда не женат, ребёнок!

- Дура, дурья голова...
- Бес умён, да его бог не любит.

Её поговорки особенно раздражали Сашу, он дразнил её, а она, презрительно скосив на него глаза, говорила:

- Эх ты, таракан, богова ошибка!

Не однажды он уговаривал меня намазать ей, сонной, лицо ваксой или сажей, натывать в её подушку булавок или как-нибудь иначе «подшутить» над ней, но я боялся кухарки, да и спала она чутко, часто просыпаясь; проснётся, зажжёт лампу и сидит на кровати, глядя куда-то в угол. Иногда она приходила ко мне за печку и, разбудив меня, просила хрипло:

- Не спится мне, Лексейка, боязно чего-то, поговори-ка ты со мной.

Сквозь сон я что-то рассказывал ей, а она сидела молча и покачивалась. Мне казалось, что горячее тело её пахнет воском и ладаном и что она скоро умрёт. Может быть, даже сейчас вот ткнётся лицом в пол и умрёт. Со страха я начинал говорить громко, но она останавливала меня:

- Шш! А то сволочи проснутся, подумают про тебя, что ты любовник мой...

Сидела она около меня всегда в одной позе: согнувшись, сунув кисти рук между колен, сжимая их острыми костями ног. Грудей у неё не было, и даже сквозь толстую холстину рубахи проступали рёбра, точно обручи на разошедшей бочке. Сидит долго молча и вдруг прошепчет:

- Хоть умереть бы, что ли, такая всё тоска...

Или спросит кого-то:

- Вот и дожила – ну?

– Спи! – говорила она, прерывая меня на полуслове, разгибалась и, серая, таяла бесшумно в темноте кухни.

- Ведьма! – звал её Саша за глаза.

Я предложил ему:

- А ты в глаза скажи ей это!
- Думаешь, побоюсь?

Но тотчас же сморщился, говоря:

- Нет, в глаза не скажу! Может, она вправду ведьма...

Относясь ко всем пренебрежительно и сердито, она и мне ни в чём не мирволила, – дёрнет меня за ногу в шесть часов утра и кричит:

- Буде дрыхнуть-то! Тащи дров! Ставь самовар! Чисти картошку!..

Просыпался Саша и ныл:

- Что ты орёшь? Я хозяину скажу, спать нельзя...

Быстро передвигая по кухне свои сухие кости, она сверкала в его сторону воспалёнными бессонницей глазами:

- У, богова ошибка! Был бы ты мне пасынок, я бы тебя ощипала.

– Проклятая, – ругался Саша и по дороге в магазин внушал мне: – Надо сделать, чтоб её прогнали. Надо, незаметно, соли во всё подбавлять, – если у неё всё будет пересолено, прогонят её. А то керосину! Ты чего зеваешь?

- А ты?

Он сердито фыркнул:

- Трус!

Кухарка умерла на наших глазах: наклонилась, чтобы поднять самовар, и вдруг села на пол, точно кто-то толкнул её в грудь, потом молча свалилась на бок, вытягивая руки вперёд, а изо рта у нее потекла кровь.

Мы оба тотчас поняли, что она умерла, но, стиснутые испугом, долго смотрели на неё, не в силах слова сказать. Наконец Саша стремглав бросился вон из кухни, а я, не зная, что

делать, прижался у окна, на свету. Пришёл хозяин, озабоченно присел на корточки, пощупал лицо кухарки пальцем, сказал:

– Действительно умерла... Что такое?

И стал креститься в угол, на маленький образок Николы Чудотворца, а помолвившись, скомандовал в сени:

– Каширин, беги, объяви полиции!

Пришёл полицейский, потоптался, получил на чай, ушёл; потом снова явился, а с ним – ломовой извозчик; они взяли кухарку за ноги, за голову и унесли её на улицу. Заглянула из сеней хозяйка, приказала мне:

– Вымой пол!

А хозяин сказал:

– Хорошо, что она вечером померла...

Я не понял, почему это хорошо. Когда ложились спать, Саша сказал мне необычно кротко:

– Не гаси лампу!

– Боишься?

Он закутал голову одеялом и долго лежал молча. Ночь была тихая, словно прислушивалась к чему-то, чего-то ждала, а мне казалось, что вот в следующую секунду ударят в колокол и вдруг все в городе забегают, закричат в великом смятении страха.

Саша высунул нос из-под одеяла и предложил тихонько:

– Давай ляжем на печи, рядом?

– Жарко на печи.

Помолчав, он сказал:

– Как она – сразу, а? Вот тебе и ведьма... Не могу уснуть...

– И я не могу.

Он стал рассказывать о покойниках, как они, выходя из могил, бродят до полуночи по городу, ищут, где жили, где у них остались родные.

– Покойники помнят только город, – тихонько говорил он, – а улицы и дома не помнят уж...

Становилось всё тише, как будто темнее. Саша приподнял голову и спросил:

– Хочешь, посмотрим мой сундук?

Мне давно хотелось узнать, что он прячет в сундуке. Он запирает его всяким замком, а открывал всегда с какими-то особенными предосторожностями и, если я пытался заглянуть в сундук, грубо спрашивал:

– Чего тебе надо? Ну?

Когда я согласился, он сел на постели, не спуская ноги на пол, и уже тоном приказания велел мне поставить сундук на постель, к его ногам. Ключ висел у него на гайтане, вместе с нательным крестом. Оглянув тёмные углы кухни, он важно нахмурился, отпер замок, подул на крышку сундука, точно она была горячая, и, наконец приподняв её, вынул несколько пар белья.

Сундук был до половины наполнен аптечными коробками, свёртками разноцветной чайной бумаги, жестянками из-под ваксы и сардин.

– Это что?

– А вот увидишь...

Он обнял сундук ногами и склонился над ним, напевая тихонько:

– Царю небесный...

Я ожидал увидеть игрушки: я никогда не имел игрушек и относился к ним с наружным презрением, но не без зависти к тому, у кого они были. Мне очень понравилось, что у Саши, такого солидного, есть игрушки; хотя он и скрывает их стыдливо, но мне понятен был этот стыд.

Открыв первую коробку, он вынул из неё оправу от очков, надел её на нос и, строго глядя на меня, сказал:

– Это ничего не значит, что стёкол нет, это уж такие очки!

– Дай мне посмотреть!

– Тебе они не по глазам. Это для тёмных глаз, а у тебя какие-то светлые, – объяснил он и по-хозяйски крикнул, но тотчас же испуганно осмотрел всю кухню.

В коробке из-под ваксы лежало много разнообразных пуговиц, – он объяснил мне с гордостью:

– Это я всё на улице собрал! Сам. Тридцать семь уж...

В третьей коробке оказались большие медные булавки, тоже собранные на улице, потом – сапожные подковки, стёртые, сломанные и цельные, пряжки от башмаков и туфель, медная дверная ручка, сломанный костяной набалдашник трости, девичья головная гребёнка, «Сонник и оракул» и ещё множество вещей такой же ценности.

В моих поисках тряпок и костей я легко мог бы собрать таких пустяковых штучек за один месяц в десять раз больше. Сашины вещи вызвали у меня чувство разочарования, смущения и томительной жалости к нему. А он разглядывал каждую штучку внимательно, любовно гладил её пальцами, его толстые губы важно оттопырились, выпуклые глаза смотрели умиленно и озабоченно, но очки делали его детское лицо смешным.

– Зачем это тебе?

Он мельком взглянул на меня сквозь оправу очков и спросил ломким дискантом:

– Хочешь, подарю что-нибудь?

– Нет, не надо...

Видимо, обиженный отказом и недостатком внимания к богатству его, он помолчал минуту, потом тихонько предложил:

– Возьми полотенце, перетрём всё, а то запылилось...

Когда вещи были перетёрты и уложены, он кувырнулся в постель, лицом к стене. Дождь пошёл, капало с крыши, в окна торкался ветер.

Не оборачиваясь ко мне, Саша сказал:

– погоди, когда в саду станет суше, я тебе покажу такую штуку ахнешь!

Я промолчал, укладываясь спать.

Прошло ещё несколько секунд, он вдруг вскочил и, царапая руками стену, с потрясающей убедительностью заговорил:

– Я боюсь... Господи, я боюсь! Господи помилуй! Что же это?

Тут и я испугался до онемения: мне показалось, что у окна во двор, спиной ко мне, стоит кухарка, наклонив голову, упираясь лбом в стекло, как стояла она живая, глядя на петушинный бой.

Саша рыдал, царапая стену, дрыгая ногами. Я с трудом, точно по горячим углям, не оглядываясь, перешёл кухню и лёг рядом с ним.

Наревевшись до утомления, мы заснули.

Через несколько дней после этого был какой-то праздник, торговали до полудня, пообедали дома, и, когда хозяева после обеда легли спать, Саша таинственно сказал мне:

– Идём!

Я догадался, что сейчас увижу штуку, которая заставит меня ахнуть.

Вышли в сад. На узкой полосе земли, между двух домов, стояло десятка полтора старых лип, могучие стволы были покрыты зелёной ватой лишая, чёрные голые сучья торчали мёртво. И ни одного вороньего гнезда среди них. Деревья – точно памятники на кладбище, кроме этих лип, в саду ничего не было, ни куста, ни травы; земля на дорожках плотно утоптана и черна, точно чугунная; там, где из-под жухлой прошлогодней листвы видны её лысины, она тоже подёрнута плесенью, как стоячая вода ряской.

Саша прошёл за угол, к забору с улицы, остановился под липой и, выкатив глаза, поглядел в мутные окна соседнего дома. Присел на корточки, разгрёб руками кучу листьев, – обнаружился толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Он приподнял их – под ними оказался кусок кровельного железа, под железом – квадратная дощечка, наконец предо мною открылась большая дыра, уходя под корень.

Саша зажёл спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дырку и сказал мне:

– Гляди! Не бойся только...

Сам он, видимо, боялся: огарок в руке его дрожал, он побледнел, неприятно распустил губы, глаза его стали влажны, он тихонько отводил свободную руку за спину. Страх его передался мне, я очень осторожно заглянул в углубление под корнем, – корень служил пещере сводом, – в глубине её Саша зажёл три огонька, они наполнили пещеру синим светом. Она была довольно обширна, глубиной как внутренность ведра, но шире, бока её были сплошь выложены кусками разноцветных стёкол и черепков чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, оклеенный свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутом чего-то похожего на парчовый покров, из-под покрова высывались серенькие птичьи лапки и остроносая головка воробья. За гробом возвышался аналой, на нём лежал медный нательный крест, а вокруг аналоя горели три восковые огарка, укрепленные в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет.

Острия огней наклонялись к отверстию пещеры; внутри её тускло блестели разноцветные искры, пятна. Запах воска, тёплой гнили и земли бил мне в лицо, в глазах переливалась, прыгала раздробленная радуга. Всё это вызвало у меня тягостное удивление и подавило мой страх.

– Хорошо? – спросил Саша.

– Это зачем?

– Часовня, – объяснил он. – Похоже?

– Не знаю.

– А воробей – покойник! Может, мощи будут из него, потому что он невинно пострадавший мученик...

– Ты его мёртвым нашёл?

– Нет, он залетел в сарай, а я накрыл его шапкой и задушил.

– Зачем?

– Так...

Он заглянул мне в глаза и снова спросил:

– Хорошо?

– Нет!

Тогда он наклонился к пещере, быстро прикрыл её доской, железом, втиснул в землю кирпичи, встал на ноги и, очищая с колен грязь, строго спросил:

– Почему не нравится?

– Воробья жалко.

Он посмотрел на меня неподвижными глазами, точно слепой, и толкнул в грудь, крикнув:

– Дурак! Это ты от зависти говоришь, что не нравится! Думаешь, у тебя в саду, на Канатной улице, лучше было сделано?

Я вспомнил свою беседку и уверенно ответил:

– Конечно, лучше!

Саша сбросил с плеч на землю свой сюртучок и, засучивая рукава, поплевав на ладони, предложил:

– Когда так, давай драться!

Драться мне не хотелось, я был подавлен ослабляющей скукой, мне неловко было смотреть на озлобленное лицо брата.

Он наскочил на меня, ударил головой в грудь, опрокинул, уселся верхом на меня и закричал:

– Жизни али смерти?

Но я был сильнее его и очень рассердился; через минуту он лежал вниз лицом, протянув руки за голову, и хрипел. Испугавшись, я стал поднимать его, но он отбивался руками и ногами, всё более пугая меня. Я отошёл в сторону, не зная, что делать, а он, приподняв голову, говорил:

– Что, взял? Вот буду так валяться, куда хозяева не увидят, а тогда пожалуюсь на тебя, тебя и прогонят!

Он ругался, угрожал; его слова рассердили меня, я бросился к пещере, вынул камни, гроб с воробьём перебросил через забор на улицу, изрыл всё внутри пещеры и затоптал её ногами.

– Вот тебе, видел?

Саша отнёсся к моему буйству странно: сидя на земле, он, приоткрыв немножко рот и сдвинув брови, следил за мною, ничего не говоря, а когда я кончил, он, не торопясь, встал, отряхнулся и, набросив сюртучок на плечи, спокойно и зловеще сказал:

– Теперь увидишь, что будет, погоди немножко! Это ведь я нарочно сделал для тебя, это – колдовство! Ага?...

Я так и присел, точно ушибленный его словами, всё внутри у меня облилось холодом. А он ушёл, не оглянувшись, ещё более подавив спокойствием своим.

Я решил завтра же убежать из города, от хозяина, от Саши с его колдовством, от всей этой нудной, дурацкой жизни.

На другой день утром новая кухарка, разбудив меня, закричала:

– Батюшки! Что у тебя с рожей-то?...

«Началось колдовство!» – подумал я угнетённо.

Но кухарка так заливчато хохотала, что я тоже улыбнулся невольно и взглянул в её зеркало: лицо у меня было густо вымазано сажей.

– Это – Саша?

– А то я! – смешливо кричала кухарка.

Я начал чистить обувь, сунул руку в башмак, – в палец мне впилась булавка.

«Вот оно – колдовство!»

Во всех сапогах оказались булавки и иголки, пристроенные так ловко, что они впивались мне в ладонь. Тогда я взял ковш холодной воды и с великим удовольствием вылил её на голову ещё не проснувшегося или притворно спавшего колдуна.

Но всё-таки я чувствовал себя плохо: мне всё мерещился гроб с воробьём, серые, скрюченные лапки и жалобно торчавший вверх восковой его нос, а вокруг – неустанное мелькание разноцветных искр, как будто хочет вспыхнуть радуга – и не может. Гроб расширялся, когти птицы росли, тянулись вверх и дрожали, оживая.

Бежать я решил вечером этого дня, но перед обедом, разогревая на керосинке судок со щами, я, задумавшись, вскипятил их, а когда стал гасить огонь, опрокинул судок себе на руки, и меня отправили в больницу.

Помню тягостный кошмар больницы: в жёлтой, зыбкой пустоте слепо копошились, урчали и стонали серые и белые фигуры в саванах, ходил на костылях длинный человек с бровями, точно усы, тряс большой чёрной бородой и рычал, присвистывая:

– Пре-освященному донесу!

Койки напоминали гробы, больные, лёжа кверху носами, были похожи на мёртвых воробьёв. Качались жёлтые стены, парусом выгибался потолок, пол зыбился, сдвигая и раздвигая ряды коек, всё было ненадёжно, жутко, а за окнами торчали сучья деревьев, точно розги, и кто-то тряс ими.

В двери приплясывал рыжий, тоненький покойник, дергал коротенькими руками саван свой и визжал:

– Мне не надо сумасшедших!

А человек на костылях орал в голову ему:

– Пре-освящен-ному-с...

Дед, бабушка да и все люди всегда говорили, что в больнице морят людей, – я считал свою жизнь поконченной. Подошла ко мне женщина в очках и тоже в саване, написала что-то на чёрной доске в моём изголовье, – мел сломался, крошки его посыпались на голову мне.

– Тебя как зовут? – спросила она.

– Никак.

– У тебя же есть имя?

– Нет.

– Не дури, а то высекут!

Я и до неё был уверен, что высекут, а потому не стал отвечать ей. Она фыркнула, точно кошка, и кошкой, бесшумно, ушла.

Зажгли две лампы, их жёлтые огни повисли под потолком, точно чьи-то потерянные глаза, висят и мигают, досадно ослепляя, стремясь сблизиться друг с другом.

В углу кто-то сказал:

– Давай в карты играть?

– Как же я без руки-то?

– Ага, отрезали тебе руку!

Я тотчас сообразил: вот – руку отрезали за то, что человек играл в карты. А что сделают со мной перед тем, как уморить меня?

Руки мне жгло и рвало, словно кто-то вытаскивал кости из них. Я тихонько заплакал от страха и боли, а чтобы не видно было слёз, закрыл глаза, но слёзы приподнимали веки и текли по вискам, попадая в уши.

Пришла ночь, все люди повалились на койки, спрятавшись под серые одеяла, с каждой минутой становилось всё тише, только в углу кто-то бормотал:

– Ничего не выйдет, и он – дрянь, и она – дрянь...

Написать бы письмо бабушке, чтобы она пришла и выкрала меня из больницы, пока я еще жив, но писать нельзя: руки не действуют и не на чём. Попробовать – не удастся ли улизнуть отсюда?

Ночь становилась всё мертвее, точно утверждаясь навсегда. Тихонько спустив ноги на пол, я подошёл к двери, половинка её была открыта, – в коридоре, под лампой, на деревянной скамье со спинкой, торчала и дымилась седая ежовая голова, глядя на меня тёмными впадинами глаз. Я не успел спрятаться.

– Кто бродит? Подь сюда!

Голос не страшный, тихий. Я подошёл, посмотрел на круглое лицо, утыканное короткими волосами, – на голове они были длиннее и торчали во все стороны, окружая её серебряными лучиками, а на поясе человека висела связка ключей. Будь у него борода и волосы длиннее, он был бы похож на апостола Петра.

– Это – варёны руки? Ты чего же шлэндаешь ночью? По какому закону?

Он выдул в грудь и лицо мне много дыма, обнял меня тёплой рукой за шею и привлёк к себе.

– Боишься?

– Боюсь!

– Здесь все боятся вначале. А бояться нечего. Особенно со мной – я никого в обиду не дам... Курить желаешь? Ну, не кури. Это тебе рано, погоди года два... А отец-мать где? Нету отца-матери! Ну, и не надо – без них проживём, только не трусь! Понял?

Я давно уже не видал людей, которые умеют говорить просто и дружески, понятными словами, – мне было невыразимо приятно слушать его.

Когда он отвёл меня к моей койке, я попросил:

– Посиди со мной!

– Можно, – согласился он.

– Ты – кто?

– Я? Солдат, самый настоящий солдат, кавказский. И на войне был, а как же иначе?

Солдат для войны живёт. Я с венграми воевал, с черкесом, поляком – сколько угодно! Война, брат, бо-ольшое озорство!

Я на минуту закрыл глаза, а когда открыл их, на месте солдата сидела бабушка в тёмном платье, а он стоял около неё и говорил:

– Поди-ка померли все, а?

В палате играло солнце, – позолотит в ней всё и спрячется, а потом снова ярко взглянет на всех, точно ребёнок шалит.

Бабушка наклонилась ко мне, спрашивая:

– Что, голубок? Изувечили? Говорила я ему, рыжему бесу...

– Сейчас я всё сделаю по закону, – сказал солдат, уходя, а бабушка, стирая слёзы с лица, говорила:

– Наш солдат, балахонский, оказался...

Я всё ещё думал, что сон вижу, и молчал. Пришёл доктор, перевязал мне ожоги, и вот я с бабушкой еду на извозчике по улицам города. Она рассказывает:

– А дед у нас – вовсе с ума сходит, так жаден стал – глядеть тошно! Да ещё у него недавно сторублёвую из псалтиря скорняк Хлыст вытащил, новый приятель его. Что было – и-и!

Ярко светит солнце, белыми птицами плывут в небе облака, мы идём по мосткам через Волгу, гудит, вздувается лёд, хлюпает вода под тесинами мостков, на мясисто-красном соборе ярмарки горят золотые кресты. Встретилась ширококорожая баба с охапкой атласных веток вербы в руках – весна идёт, скоро пасха!

Сердце затрепетало жаворонком.

– Люблю я тебя очень, бабушка!

Это её не удивило, спокойным голосом она сказала мне:

– Родной потому что, а меня, не хвастаясь скажу, и чужие любят, слава тебе, богородица!

Улыбаясь, она добавила:

– Вот – обрадуется она скоро, сын воскреснет! А Варюша, дочь моя...

И замолчала...

## II

Дед встретил меня на дворе, – тесал топором какой-то клин, стоя на коленях. Приподнял топор, точно собираясь швырнуть его в голову мне, и, сняв шапку, насмешливо сказал:

– Здравствуйтесь, преподобное лицо, ваше благородие! Отслужили? Ну, уж теперь как хотите живите, да! Эх вы-и...

– Знаем, знаем, – торопливо проговорила бабушка, отмахиваясь от него, а войдя в комнату и ставя самовар, рассказывала:

– Теперь – начисто разорился дедушка-то; какие деньги были, всё отдавал крестнику Николаю в рост, а расписок, видно, не брал с него, – уж не знаю, как это у них случилось, только – разорился, пропали деньги. А всё за то, что бедным не помогали мы, несчастных не жалели, господь-то и подумал про нас: для чего же я Кашириных добром оделил? Подумал да и лишил всего...

Оглянувшись, она сообщила:

– Уж я все стараюсь господу задобрить немножко, чтобы не больно он старика-то пригнетал, – стала теперь от трудов своих тихую милостыню подавать по ночам. Вот, хошь, пойдём сегодня – у меня деньги есть...

Пришёл дед, сощурился и спросил:

– Жрать нацелились?

– Не твое, – сказала бабушка. – А коли хочешь, садись с нами, и на тебя хватит.

Он сел к столу, молвив тихонько:

– Налей...

Всё в комнате было на своём месте, только угол матери печально пустовал, да на стене, над постелью деда, висел лист бумаги с крупной подписью печатными буквами:

«Исусе Спасе едино живый! Да пребудет святое имя твоё со мною по вся дни и часы живота моего».

– Это кто писал?

Дед не ответил, бабушка, подождав, сказала с улыбкой:

– Этой бумаге сто рублей цена!

– Не твоё дело! – крикнул дед. – Всё чужим людям раздам!

– Раздавать-то нечего, а когда было – не раздавал, – спокойно сказала бабушка.

– Молчать! – взвизгнул дед.

Здесь всё в порядке, всё по-старому.

В углу на сундуке, в бельевой корзинке, проснулся Коля и смотрел оттуда; синие полоски глаз едва видны из-под век. Он стал ещё более серым, вялым, тающим; он не узнал меня, отвернулся молча и закрыл глаза.

На улице меня ждали печальные вести: Вяхирь помер – его на страстной неделе «ветряк задушил»; Хаби – ушёл жить в город, у Язя отнялись ноги, он не гулял. Сообщив мне всё это, черноглазый Кострома сердито сказал:

– Уж очень скоро мрут мальчишки!

– Да ведь помер только Вяхирь?

– Всё равно: кто ушёл с улицы, тоже будто помер. Только подружисься, привыкнешь, а товарища либо в работу отдадут, либо умрёт. Тут на вашем дворе, у Чеснокова, новые живут – Евсеенки; парнишка – Нюшка, ничего, ловкий! Две сестры у него; одна ещё маленькая, а другая хромая, с костылём ходит, красивая.

Подумав, он добавил:

– Мы, брат, с Чуркой влюбились в неё, всё ссоримся!

– С ней?

– Зачем? Промежду себя. С ней – редко!

Я, конечно, знал, что большие парни и даже мужики влюбляются, знал и грубый смысл этого. Мне стало неприятно, жалко Кострому, неловко смотреть на его угловатое тело, в чёрные сердитые глаза.

Хромую девушку я увидел вечером, в тот же день. Сходя с крыльца на двор, она уронила костыль и беспомощно остановилась на ступенях, вцепившись в струну перил прозрачными руками, тонкая, слабенькая. Я хотел поднять костыль, но забинтованные руки действовали плохо, я долго возился и досадовал, а она, стоя выше меня, тихонько смеялась:

– Что это с руками у тебя?

– Сварил.

– А вот я – хромаю. Ты с этого двора? Долго в больнице лежал? А я лежала там до-олго!

Вздыхнув, она прибавила:

– Очень долго!

На ней было белое платье с голубыми подковками, старенькое, но чистое, гладко причёсанные волосы лежали на груди толстой, короткой косой. Глаза у неё – большие, серьёзные, в их спокойной глубине горел голубой огонёк, освещающая худенькое, остроносое лицо. Она приятно улыбалась, но – не понравилась мне. Вся её болезненная фигурка как будто говорила:

«Не трогайте меня, пожалуйста!»

Как могли товарищи влюбиться в неё?

– Я – давно хвораю, – рассказывала она охотно и словно хвастаясь. Меня соседка заколдовала, поругалась с мамой и заколдовала меня, назло ей... В больнице страшно?

– Да...

С нею было неловко, я ушёл в комнату.

Около полуночи бабушка ласково разбудила меня.

– Пойдём, что ли? Потрудишься людям – руки-то скорее заживут...

Взяла меня за руку и повела во тьме, как слепого. Ночь была чёрная, сырая, непрерывно дул ветер, точно река быстро текла, холодный песок хватал за ноги. Бабушка осторожно подходила к тёмным окнам мещанских домишек, перекрестясь трижды, оставляла на подоконниках по пятаку и по три кренделя, снова крестилась, глядя в небо без звёзд, и шептала:

– Пресвятая царица небесная, помоги людям! Все – грешники пред тобою, матушка!

Чем дальше уходили мы от дома, тем глуше и мертвее становилось вокруг. Ночное небо, бездонно углублённое тьмой, словно навсегда спрятало месяц и звёзды. Выкатилась откуда-то собака, остановилась против нас и зарычала, во тьме блестят её глаза; я трусливо прижался к бабушке.

– Ничего, – сказала она, – это просто собака, бесу – не время, ему поздно, петухи-то ведь уже пропели!

Подманила собаку, погладила её и советует:

– Ты смотри, собачонка, не пугай мово внучонка!

Собака потёрлась о мои ноги, и дальше пошли втроём. Двенадцать раз подходила бабушка под окна, оставляя на подоконниках «тихую милостыню»; начало светать, из тьмы вырастали серые дома, поднималась белая, как сахар, колокольня Напольной церкви; кирпичная ограда кладбища поредела, точно худая рогожа.

– Устала старуха, – говорила бабушка, – домой пора! Проснутся завтра бабы, а ребятишкам-то их припасла богородица немножко! Когда всего не хватает, так и немножко – годится! Охо-хо, Олёша, бедно живёт народ, и никому нет о нём заботы!

Богатому о господе не думается,  
О Страшном суде не мерещится,  
Бедный-то ему ни друг, ни брат,

Ему бы всё только золото собирать  
А быть тому злату в аду угольями!

Вот оно как! Жить надо – друг о дружке, а бог – обо всех! А рада я, что ты опять со мной...

Я тоже спокойно рад, смутно чувствуя, что приобщился чему-то, о чём не забуду никогда. Около меня тряслась рыжая собака с лисьей мордой и добрыми виноватыми глазами.

– Она будет с нами жить?

– А что ж? Пускай живёт, коли хочет. Вот я ей крендель дам, у меня два осталось. Давай сядем на лавочку, что-то я устала...

Сели у ворот на лавку, собака легла к ногам нашим, разгрызая сухой крендель, а бабушка рассказывала:

– Тут одна еврейка живет, так у ней – девять человек, мал мала меньше. Спрашиваю я её: «Как же ты живешь, Мосевна?» А она говорит: «Живу с богом со своим – с кем иначе жить?»

Я прислонился к тёплому боку бабушки и заснул.

... Жизнь снова потекла быстро и густо, широкий поток впечатлений каждый день приносил душе что-то новое, что восхищало и тревожило, обижало, заставляло думать.

Вскоре я тоже всеми силами стремился как можно чаще видеть хромую девочку, говорить с нею или молча сидеть рядом, на лавочке у ворот, – с нею и молчать было приятно. Была она чистенькая, точно птица пеночка, и прекрасно рассказывала о том, как живут казаки на Дону: там она долго жила у дяди, машиниста маслобойни, потом отец её, слесарь, переехал в Нижний.

– А ещё дядя, второй, так тот служит при самом царе.

Вечерами, по праздникам, всё население улицы выходило «за ворота», парни и девушки отправлялись на кладбище водить хороводы, мужики расходились по трактирам, на улице оставались бабы и ребятишки. Бабы рассаживались у ворот прямо на песке или на лавочках и поднимали громкий галдёж, ссорясь и судача; ребятишки начинали играть в лапту, в городки, в «шар-мазлу», – матери следили за играми, поощряя ловких, осмеивая плохих игроков. Было оглушительно шумно и незабвенно весело; присутствие и внимание «больших», возбуждая нас, мелочь, вносило во все игры особенное оживление, страстное соперничество. Но как бы сильно ни увлекались игрою мы трое – Кострома, Чурка и я, – всё-таки нет-нет да тот или другой бежит похвастаться перед хроменькой девушкой.

– Видела, Людмила, как я все пять чушек из города вышиб?

Она ласково улыбалась, кивая головой несколько раз кряду.

Раньше наша компания старалась держаться во всех играх вместе, а теперь я видел, что Чурка и Кострома играют всегда в разных партиях, всячески соперничая друг с другом в ловкости и силе, часто – до слёз и драки. Однажды они подрались так бешено, что должны были вмешаться большие, и врагов разливали водою, как собак.

Людмила, сидя на лавочке, топала о землю здоровой ногой, а когда бойцы подкатывались к ней, отталкивала их костылём, боязливо вскрикивая:

– Перестаньте!

Лицо у неё было досиня бледное, глаза погасли и закатились, точно у кликуши.

Другой раз Кострома, позорно проиграв Чурке партию в городки, спрятавшись за ларь с овсом у бакалейной лавки, сел там на корточки и молча заплакал, – это было почти страшно: он крепко стиснул зубы, скулы его высунулись, костлявое лицо окаменело, а из чёрных, угрюмых глаз выкатываются тяжёлые, крупные слёзы. Когда я стал утешать его, он прошептал, захлёбываясь слезами:

– Погоди... я его кирпичом по башке... увидит!

Чурка стал заносчив, ходил посредине улицы, как ходят парни-женихи, заломив картуз набекрень, засунув руки в карманы; он выучился ухарски сплёвывать сквозь зубы и обещал:

– Скоро курить выучусь. Уж я два раза пробовал, да тошнит.

Всё это не нравилось мне. Я видел, что теряю товарища, и мне казалось, что виною этому Людмила.

Как-то раз вечером, когда я разбирал на дворе собранные кости, тряпки и всякий хлам, ко мне подошла Людмила, покачиваясь, размахивая правой рукой.

– Здравствуй, – сказала она, трижды кивнув головой. – Кострома с тобой ходил?

– Да.

– А Чурка?

– Чурка с нами не дружится. Это всё ты виновата, влюбились они в тебя и – дерутся...

Она покраснела, но ответила насмешливо:

– Вот ещё! Чем же я виновата?

– А зачем влюбляешь?

– Я их не просила влюбляться! – сказала она сердито и пошла прочь, говоря: – Глупости всё это! Я старше их, мне четырнадцать лет. В старших девочек не влюбляются...

– Много ты знаешь! – желая обидеть её, крикнул я. – Вон лавочница, Хлыстова сестра, совсем старая, а как путается с парнями-то!

Людмила воротилась ко мне, глубоко всаживая свой костыль в песок двора.

– Ты сам ничего не знаешь, – заговорила она торопливо, со слезами в голосе, и милые глаза её красиво разгорелись. – Лавочница – распутная, а я – такая, что ли? Я ещё маленькая, меня нельзя трогать и щипать, и всё... ты бы вот прочитал роман «Камчадалка», часть вторая, да и говорил бы!

Она ушла, всхлипывая. Мне стало жаль её – в словах её звучала какая-то неведомая мне правда. Зачем щиплют её товарищи мои? А ещё говорят влюблены...

На другой день, желая загладить вину свою перед Людмилой, я купил на семишник леденцов «ячменного сахара», любимого ею, как я уже знал.

– Хочешь?

Она насильно сердито сказала:

– Уйди, я с тобой не дружусь!

Но тотчас взяла леденцы, заметив мне:

– Хоть бы в бумажку завернул, – руки-то грязные какие.

– Я мыл, да уж не отмываются.

Она взяла мою руку своей, сухой и горячей, посмотрела.

– Как испортил...

– А у тебя пальцы истыканы...

– Это – иголкой, я шью много...

Через несколько минут она предложила мне, оглядываясь:

– Слушай, давай спрячемся куда-нибудь и станем читать «Камчадалку» хочешь?

Долго искали, куда спрятаться, везде было неудобно. Наконец решили, что лучше всего забраться в предбанник: там – темно, но можно сесть у окна – оно выходит в грязный угол между сараем и соседней бойней, люди редко заглядывают туда.

И вот она сидит, боком к окну, вытянув больную ногу на скамье, опустив здоровую на пол, сидит и, закрыв лицо растрёпанной книжкой, взволнованно произносит множество непонятных и скучных слов. Но я – волнуюсь. Сидя на полу, я вижу, как серьёзные глаза двумя голубыми огоньками двигаются по страницам книжки, иногда их увлажняет слеза, голос девочки дрожит, торопливо произнося незнакомые слова в непонятных соединениях. Однако я хватаю эти слова и, стараясь уложить их в стихи, перевёртываю всячески, это уж окончательно мешает мне понять, о чём рассказывает книга.

На коленях у меня дремлет собака, я зову её – Ветер, потому что она мохнатая, длинная, быстро бегаёт и ворчит, как осенний ветер в трубе.

– Ты слушаешь? – спрашивает девочка. Я молча киваю головой. Сумятица слов всё более возбуждает меня, всё беспокойнее моё желание расставить их иначе, как они стоят в песнях, где каждое слово живёт и горит звездой в небе.

Когда стало темно, Людмила, опустив побелевшую руку с книгой, спросила:

– Хорошо ведь? Вот видишь...

С этого вечера мы часто сживали в предбаннике. Людмила, к моему удовольствию, скоро отказалась читать «Камчадалку». Я не мог ответить ей, о чём идёт речь в этой бесконечной книге, – бесконечной потому, что за второй частью, с которой мы начали чтение, явилась третья; и девочка говорила мне, что есть четвертая.

Особенно хорошо было нам в ненастные дни, если ненастье не падало на субботу, когда топили баню.

На дворе льёт дождь, – никто не выйдет на двор, не заглянет к нам, в тёмный наш угол. Людмила очень боялась, что нас «застанут».

– Знаешь, что тогда подумают? – тихонько спрашивала она.

Я знал и тоже опасался, как бы не «застали». Мы просиживали целые часы, разговаривая о чём-то, иногда я рассказывал бабушкины сказки, Людмила же – о жизни казаков на реке Медведице.

– Ой, как там хорошо! – вздыхала она. – Здесь – что? Здесь только нищим жить...

Я решил, что, когда вырасту, непременно схожу посмотреть реку Медведицу.

Скоро мы перестали нуждаться в предбаннике: мать Людмилы нашла работу у скорняка и с утра уходила из дому, сестрёнка училась в школе, брат работал на заводе изразцов. В ненастные дни я приходил к девочке, помогая ей стряпать, убирать комнату и кухню, она смеялась:

– Мы с тобой живём, как муж с женой, только спим порознь. Мы даже лучше живём – мужа женам не помогают...

Если у меня были деньги, я покупал сластей, мы пили чай, потом охлаждали самовар холодной водой, чтобы крикливая мать Людмилы не догадалась, что его грели. Иногда к нам приходила бабушка, сидела, плетя кружева или вышивая, рассказывала чудесные сказки, а когда дед уходил в город, Людмила пробиралась к нам, и мы пировали беззаботно.

Бабушка говорила:

– Ой, хорошо мы живём! Свой грош – строй что хошь!

Она поощряла нашу дружбу.

– Мальчику с девочкой дружить – это хорошее дело! Только баловать не надо...

И простейшими словами объясняла, что значит «баловать». Говорила она красиво, одухотворённо, и я хорошо понял, что не следует трогать цветы, пока они не распустились, а то не быть от них ни запаху, ни ягод.

«Баловать» не хотелось, но это не мешало мне и Людмиле говорить о том, о чём принято молчать. Говорили, конечно, по необходимости, ибо отношения полов в их грубой форме слишком часто и назойливо лезли в глаза, слишком обижали нас.

Отец Людмилы, красивый мужчина лет сорока, был кудряв, усат и как-то особенно победно шевелил густыми бровями. Он был странно молчалив, – я не помню ни одного слова, сказанного им. Лаская детей, он мычал, как немой, и даже жену бил молча.

Вечерами, по праздникам, одев голубую рубаху, плисовые шаровары и ярко начищенные сапоги, он выходил к воротам с большой гармоникой, закинутой на ремне за спину, и становился точно солдат в позиции «на караул». Тотчас же мимо наших ворот начиналось «гулянье»: уточками шли одна за другой девицы и бабы, поглядывая на Евсеенку прикрито, из-под ресниц, и открыто, жадными глазами, а он стоит, оттопырив нижнюю губу, и тоже смотрит на всех выбирающим взглядом тёмных глаз. Было что-то неприятно-собачье в этой безмолв-

ной беседе глазами, в медленном, обречённом движении женщин мимо мужчины, – казалось, что любая из них, если только мужчина повелительно мигнёт ей, покорно свалится на сорный песок улицы, как убитая.

– Выпялился козёл, бесстыжая харя! – ворчит мать Людмилы. Тонкая и высокая, с длинным, нечистым лицом, с коротко остриженными – после тифа волосами, она была похожа на изработанную метлу.

Рядом с нею сидит Людмила и безуспешно старается отвлечь внимание её от улицы, упрямо расспрашивает о чём-нибудь.

– Отстань, назола, урод несчастный! – бормочет мать, беспокойно мигая; её узкие монгольские глаза светлы и неподвижны, – задели за что-то и навсегда остановились.

– Ты не сердись, мамочка, всё равно уж, – говорит Людмила. – Ты погляди-ка, как рогожница разоделась!

– Я бы получше оделась, кабы вас троих не было, сожрали вы меня, слопали, – безжалостно и точно сквозь слёзы отвечает мать, вцепившись глазами в большую, широкую вдову рогожника.

Она похожа на маленький дом, грудь у неё выпятилась, подобно крыльцу; красное лицо, прикрытое и срезанное зелёным платком, напоминает слуховое окно, в час, когда стёкла его отражают солнце.

Евсеенко, перекинув гармонию на грудь, играет. На гармонии множество ладов, звуки её неотразимо тянут куда-то, со всей улицы катятся ребятишки, падают к ногам гармониста и замирают в песке, восхищённые.

– погоди, свернут тебе башку, – обещает Евсеенко мужу.

Он молча косится на неё.

А рогожница камнем села неподалеку, на скамью у Хлыстовой лавки, и, склонив голову на плечо, слушает, пылая.

В поле, за кладбищем, рдеет вечерняя заря, по улице, как по реке, плывут ярко одетые большие куски тела, вихрем выются дети, тёплый воздух ласков и пьян. Чем-то острым дышит нагретый за день песок, особенно слышен жирный, сладковатый запах боен – запах крови; а со дворов, где живут скорняки, солоно и едко пахнет мездрой. Бабий говор, пьяный рёв мужиков, звонкие крики детей, пение басовитой гармоники – всё сливается густым гулом, мощно вздыхает неутомимо творящая земля. Всё – грубо, обнажённо и внушает большое, крепкое чувство доверия к этой чёрной жизни, бесстыдно-животной. Хвастаясь своими силами, она тоскливо и напряжённо ищет, куда излить их.

И сквозь шум порою доходят до сердца, навсегда укрепляясь в памяти, какие-то особенно жуткие слова:

– Одного всем сразу нельзя бить – надо по очереди...

– Кто нас пожалеет, коли сами себя не жалеем...

– Али бог бабу на смех родил?...

Ночь близко; свежее воздух, тише гул, деревянные дома пухнут, растут, одеваются тенями. Детей растащили по дворам – спать, иные заснули тут же под заборами, у ног и на коленях матерей. Ребятишки побольше становятся к ночи смирнее, мягче. Евсеенко незаметно исчез, точно растаял, рогожницы тоже нет, басовитая гармоника играет где-то далеко, за кладбищем. Мать Людмилы сидит на лавке, скорчившись, выгнув спину, точно кошка. Бабушка моя ушла пить чай к соседке, повитухе и сводне, большой, жилистой бабе с утиным носом и золотой медалью «за спасение погибавших» на плоской, мужской груди. Вся улица боится её, считая колдуньей; про неё говорят, что она вынесла из огня, во время пожара, троих детей какого-то полковника и его больную жену.

У бабушки с нею – дружба; встречаясь на улице, обе они ещё издали улыбаются друг другу как-то особенно хорошо.

Кострома, Людмила и я сидим у ворот на лавке; Чурка вызвал брата Людмилы бороться, – обнявшись, они топчутся на песке и пылят.

– Перестаньте! – боязливо просит Людмила.

Скосив на неё чёрные глаза, Кострома рассказывает про охотника Калинина, седенького старичка с хитрыми глазами, человека дурной славы, знакомого всей слободе. Он недавно помер, но его не зарыли в песке кладбища, а поставили гроб поверх земли, в стороне от других могил. Гроб чёрный, на высоких ножках, крышка его расписана белой краской, – изображены крест, копьё, трость и две кости.

Каждую ночь, как только стемнеет, старик встаёт из гроба и ходит по кладбищу, всё чего-то ищет вплоть до первых петухов.

– Не говори о страшном! – просит Людмила.

– Пусти! – кричит Чурка, освобождаясь от объятий брата её, и насмешливо говорит Костроме: – Что врёшь? Я сам видел, как зарывали гроб, а сверху – пустой, для памятника... А что ходит покойник – это пьяные кузнецы выдумали...

Кострома, не глядя на него, сердито предложил:

– Поди переспи на кладбище, коли так!

Они начали спорить, а Людмила, скучно покачивая головой, спрашивала:

– Мамочка, покойники по ночам встают?

– Встают, – повторила мать, точно издали отозвалось эхо.

Подошёл сын лавочницы, Валёк, толстый, румяный парень лет двадцати, послушал наш спор и сказал:

– Кто из трёх до света пролежит на гробу – двугривенный дам и десяток папирос, а кто струсит – уши надеру, сколько хочу, ну?

Все замолчали, смутясь, а мать Людмилы сказала:

– Глупости какие! Разве можно детей подбивать на этакое...

– Давай рубль – пойду! – угрюмо предложил Чурка. Кострома тотчас же ехидно спросил:

– А за двугривенный – трусишь? – И сказал Вальку: – Дай ему рубль, всё равно не пойдёт, форсит только...

– Ну, бери рубль!

Чурка встал с земли и молча, не торопясь, пошёл прочь, держась близко к забору. Кострома, сунув пальцы в рот, пронзительно свистнул вслед ему, а Людмила тревожно заговорила:

– Ах, господи, хвастунишка какой... что же это!

– Куда вам, трусы! – издевался Валёк. – А ещё первые бойцы улицы считаетесь, котята...

Было обидно слушать его издёвки; этот сытый парень не нравился нам, он всегда подстрекал ребятишек на злые выходки, сообщал им пакостные сплетни о девицах и женщинах; учил дразнить их; ребятишки слушались его и больно платились за это. Он почему-то ненавидел мою собаку, бросал в неё камнями; однажды он дал ей в хлебе иглу.

Но ещё обиднее было видеть, как уходит Чурка, съёжившись, пристыженный.

Я сказал Вальку:

– Давай рубль, я пойду...

Он, посмеиваясь и пугая меня, отдал рубль Евсеенковой, но женщина строго сказала:

– Не хочу, не возьму!

И сердито ушла. Людмила тоже не решилась взять бумажку; это ещё более усилило насмешки Валька. Я уже хотел идти, не требуя денег, но подошла бабушка и, узнав, в чём дело, взяла рубль, а мне спокойно сказала:

– Пальтишко надень да одеяло возьми, а то к утру холодно станет...

Её слова внушили мне надежду, что ничего страшного не случится со мною.

Валёк поставил условием, что я должен до света лежать или сидеть на гробе, не сходя с него, что бы ни случилось, если даже гроб закачается, когда старик Калинин начнёт вылезать из могилы. Спрыгнув на землю, я проиграю.

– Гляди же, – предупредил Валёк, – я за тобой всю ночь следить буду!

Когда я пошёл на кладбище, бабушка, перекрестив меня, посоветовала:

– Ежели что померещится – не шевелись, а только читай богородицу дево радуйся...

Я шёл быстро, хотелось поскорее начать и кончить всё это. Меня сопровождали Валёк, Кострома и ещё какие-то парни. Перелезая через кирпичную ограду, я запутался в одеяле, упал и тотчас вскочил на ноги, словно подброшенный песком. За оградой хохотали. Что-то ёкнуло в груди, по коже спины пробежал неприятный холодок.

Спотыкаясь, я дошёл до чёрного гроба. С одной стороны он был занесён песком, с другой – его коротенькие, толстые ножки обнажились, точно кто-то пытался приподнять его и пошатнул. Я сел на край гроба, в ногах его, оглянулся: бугроватое кладбище тесно заставлено серыми крестами, тени, размахнувшись, легли на могилы, обняли их щетинистые холмы. Кое-где, заплутавшись среди крестов, торчат тонкие, тощие берёзки, связывая ветвями разъединённые могилы; сквозь кружево их теней торчат былинки – эта серая щетина самое жуткое! Снежным сугробом поднялась в небо церковь, среди неподвижных облаков светит маленькая, истаявшая луна.

Язёв отец – Дрянной Мужик – лениво бьёт в сторожевой колокол; каждый раз, когда он дёргает верёвку, она, задевая за железный лист крыши, жалобно поскрипывает, потом раздаётся сухой удар маленького колокола, – он звучит кратко, скучно.

«Не дай господь бессонницу», – вспоминается мне поговорка сторожа.

Жутко. И почему-то – душно, я обливаюсь потом, хотя ночь свежая. Успею ли я добежать до сторожки, в случае если старик Калинин начнёт вылезать из могилы?

Кладбище хорошо знакомо мне, десятки раз я играл среди могил с Язём и другими товарищами. Вон там, около Церкви, похоронена мать...

Ещё не всё уснуло, со слободы доносятся всплески смеха, обрывки песен. На буграх, в железнодорожном карьере, где берут песок, или где-то в деревне Катызовке верещит, захлёбываясь, гармоника, за оградой идёт всегда пьяный кузнец Мячов и поёт – я узнаю его по песне:

А у нашей маменьки  
И грехи-то маленьки,  
Она не любя никого,  
Только тятю одного...

Приятно слышать последние вздохи жизни, но после каждого удара колокола становится тише, тишина разливается, как река по лугам, все топит, скрывает. Душа плавает в бескрайней, бездонной пустоте и гаснет, подобно огню спички во тьме, растворяясь бесследно среди океана этой пустоты, где живут, сверкая, только недосыгаемые звёзды, а всё на земле исчезло, ненужно и мёртво.

Закутавшись в одеяло, я сидел, подобрав ноги, на гробнице лицом к церкви, и, когда шевелился, гробница поскрипывала, песок под нею хрустел.

Что-то ударило о землю сзади меня раз и два, потом близко упал кусок кирпича, – это было страшно, но я тотчас догадался, что швыряют из-за ограды Валёк и его компания – хотят испугать меня. Но от близости людей мне стало лучше.

Невольно думалось о матери... Однажды, застав меня, когда я пробовал курить папиросы, она начала бить меня, а я сказал:

– Не трогай, и без того уж мне плохо, тошнит очень...

Потом, наказанный, я сидел за печью, а она говорила бабушке:

– Бесчувственный мальчишка, никого не любит...

Обидно было слушать это. Когда мать наказывала меня, мне было жалко её, неловко за неё: редко она наказывала справедливо и по заслугам.

И вообще – очень много обидного в жизни, вот хотя бы эти люди за оградой, – ведь они хорошо знают, что мне боязно одному на кладбище, а хотят напугать ещё больше. Зачем?

Хотелось крикнуть им:

«Подите к чёрту!»

Но это было опасно, – кто знает, как отнесётся к этому чорт? Он, наверное, где-нибудь близко.

В песке много кусочков слюды, она тускло блестела в лунном свете, и это напоминало мне, как однажды я, лёжа на плотках на Оке, смотрел в воду, вдруг, почти к самому лицу моему всплыл подлещик, повернулся боком и стал похож на человечью щеку, потом взглянул на меня круглым птичьим глазом, нырнул и пошёл в глубину, колеблясь, как падающий лист клёна.

Память работала всё напряжённее, воскрешая различные случаи жизни, точно защищаясь ими против воображения, упрямо создававшего страшное.

Вот катится ёж, стуча по песку твёрдыми лапками: он напоминает домового – такой же маленький, встрёпанный.

Вспоминаю, как бабушка, сидя на корточках перед подпечком, приговаривала:

– Ласковый хозяин, выведи тараканов...

Далеко за городом – не видным мне – становилось светлее, утренний холодок сжимал щёки, слипались глаза.

Я свернулся калачиком, окутав голову одеялом, – будь что будет!

Разбудила меня бабушка – стоит рядом со мной и, стаскивая одеяло, говорит:

– Вставай! Не озяб ли? Ну, что – страшно?

– Страшно, только ты не говори никому про это, ребятишкам не говори!

– А почто молчать? – удивилась она. – Коли не страшно, так и хвалиться нечем...

Пошли домой, и дорогой она ласково говорила:

– Всё надо самому испытать, голуба душа, всё надо самому знать... Сам не поучишься – никто не научит...

К вечеру я стал «героем» улицы, все спрашивали меня:

– Да неужто не страшно?

И когда я говорил: «Страшно!» – качая головами, восклицали:

– Ага! Вот видишь?

Лавочница же громко и убеждённо заявила:

– Стало быть, ввали, что Калинин встаёт. Кабы вставал, – разве испугался бы мальчишки? Да он бы его смахнул с кладбища и не видать куда.

Людмила смотрела на меня с ласковым удивлением, даже дед был, видимо, доволен мною, всё ухмылялся. Только Чурка сказал угрюмо:

– Ему – легко, у него бабушка – ведьма!

### III

Незаметно, как маленькая звезда на утренней заре, погас брат Коля. Бабушка, он и я спали в маленьком сарайчике, на дровах, прикрытых разным тряпьем; рядом с нами, за щелявой стеной из горбушин, был хозяйский курятник; с вечера мы слышали, как встряхивались и клохтали, засыпая, сытые куры; утром нас будил золотой горластый петух.

– О, чтоб тебя рóзорвало! – ворчала бабушка, просыпаясь.

Я уже не спал, наблюдая, как сквозь щели дровяника пробиваются ко мне на постель лучи солнца, а в них пляшет какая-то серебряная пыль, – эти пылинки – точно слова в сказке. В дровах шуршат мыши, бегают красненькие букашки с чёрными точками на крыльях.

Иногда, уходя от душных испарений куриного помета, я вылезал из дровяника, забирался на крышу его и следил, как в доме просыпались безглазые люди, огромные, распухшие во сне.

Вот высунулась из окна волосатая башка лодочника Ферманова, угрюмого пьяницы; он смотрит на солнце крошечными щёлками заплывших глаз и хрюкает, точно кабан. Выбежал на двор дед, обеими руками приглаживая рыженькие волосёнки, – спешит в баню обливаться холодной водой. Болтливая кухарка домохозяйина, остроносая, густо обрызганная веснушками, похожа на кукушку, сам хозяин – на старого, ожиревшего голубя, и все люди напоминают птиц, животных, зверей.

Утро такое милое, ясное, но мне немножко грустно и хочется уйти в поле, где никого нет, – я уж знаю, что люди, как всегда, запачкают светлый день.

Однажды, когда я лежал на крыше, бабушка позвала меня и негромко сказала, кивнув головой на свою постель:

– Помер Коля-то...

Мальчик съехал с кумача подушки и лежал на войлоке, синеватый, голенький, рубашка сбилась к шее, обнажив вздутый живот и кривые ножки в язвах, руки странно подложены под поясницу, точно он хотел приподнять себя. Голова чуть склонилась набок.

– Слава богу, отошёл, – говорила бабушка, расчёсывая волосы свои. Что бы он жил, убогонький-то?

Притопывая, точно танцуя, явился дед, осторожно потрогал пальцем закрытые глаза ребёнка; бабушка сердито сказала:

– Что трогаешь немытыми-то руками?

Он забормотал:

– Вот – родили... жил, ел... ни то ни сё...

– Проснись, – остановила его бабушка.

Он слепо взглянул на неё и пошёл на двор, говоря:

– Мне хоронить не на что, как хошь сама...

– Тьфу ты, несчастный!

Я ушёл и вплоть до вечера не возвращался домой.

Хоронили Колю утром другого дня; я не пошёл в церковь и всю обедню сидел у разрытой могилы матери, вместе с собакой и Язёвым отцом. Он вырыл могилу дешёво и всё хвастался этим передо мной.

– Это я только по знакомству, а то бы – рубль...

Заглядывая в жёлтую яму, откуда исходил тяжелый запах, я видел в боку её чёрные, влажные доски. При малейшем движении моём бугорки песку вокруг могилы осыпались, тонкие струйки текли на дно, оставляя по бокам морщины. Я нарочно двигался, чтобы песок скрыл эти доски.

– Не балуй, – сказал Язёв отец, покуривая. Бабушка принесла на руках белый гробик, Дрянной Мужик прыгнул в яму, принял гроб, поставил его рядом с чёрными досками и, выско-

чив из могилы, стал толкать туда песок и ногами и лопатой. Трубка его дымилась, точно кадило. Дед и бабушка тоже молча помогали ему. Не было ни попов, ни нищих, только мы четверо в густой толпе крестов.

Отдавая деньги сторожу, бабушка сказала с укором:

– А ты всё-таки потревожил Варину-то домовину...

– Как иначе! И то я чужой земли прихватил. Это – ничего!

Бабушка поклонилась могиле до земли, всхлипнула, взвыла и пошла, а за нею – дед, скрыв глаза под козырьком фуражки, одёргивая потёртый сюртук.

– Сеяли семя в непахану землю, – сказал он вдруг, убегая вперёд, точно ворон по пашне.

Я спросил бабушку:

– Чего он?

– Бог с ним! У него свои мысли, – ответила она.

Было жарко, бабушка шла тяжело, ноги её тонули в тёплом песке, она часто останавливалась, отирая потное лицо платком.

Я спросил её, понатужась:

– Чёрное-то в могиле – это материн гроб?

– Да, – сказала она сердито. – Пёс неумный... Года ещё нет, а сгнила Варя-то! Это всё от песку, – он воду пропускает. Кабы глина была, лучше бы...

– Все гниют?

– Все. Только святых минует это...

– Ты – не сгниешь!

Она остановилась, поправила картуз на моей голове и серьёзно посоветовала:

– Не думай-ка про это, не надо. Слышишь?

Но я думал: «Как это обидно и противно – смерть. Вот гадость!»

Мне было очень плохо.

Когда пришли домой, дед уже приготовил самовар, накрыл на стол.

– Попьём чайку, а то – жарко, – сказал он. – Я уж своего заварю. На всех.

Подошёл к бабушке и похлопал её по плечу.

– Что, мать, а?

Бабушка махнула рукой.

– Что уж тут!

– То-то вот! Прогневался на нас господь, отрывает кусок за куском... Кабы семьи-то крепко жили, как пальцы на руке...

Давно не говорил он так мягко и миролюбиво. Я слушал его и ждал, что старик погасит мою обиду, поможет мне забыть о жёлтой яме и чёрных, влажных ключьях в боку её.

Но бабушка сурово остановила его:

– Перестань-ка, отец! Всю жизнь говоришь ты эти слова, а кому от них легче? Всю жизнь ел ты всех, как ржа железо...

Дед крякнул, взглянул на неё и замолчал.

Вечером, у ворот я с тоскою поведал Людмиле о том, что увидел утром, но это не произвело на неё заметного впечатления.

– Сиротой жить лучше. Умри-ка у меня отец с матерью, я бы сестру оставила на брата, а сама – в монастырь на всю жизнь. Куда мне ещё? Замуж я не гожусь, хромая – не работница. Да ещё детей тоже хромых нарожаешь...

Она говорила разумно, как все бабы нашей улицы, и, должно быть, с этого вечера я потерял интерес к ней; да и жизнь пошла так, что я всё реже встречал подругу.

Через несколько дней после смерти брата дед сказал мне:

– Ложись сегодня раньше, на свету разбужу, в лес пойдём за дровами...

– А я – травок пособираю, – заявила бабушка.

Лес, еловый и берёзовый, стоял на болоте, верстах в трёх от слободы. Обилен сухостоем и валежником, он размахнулся в одну сторону до Оки, в другую – шёл до шоссеиной дороги на Москву, и дальше, за дорогу. Над его мягкой щетиной чёрным шатром высоко поднималась сосновая чаща – «Савёлова Грива».

Все это богатство принадлежало графу Шувалову и охранялось плохо; кунавинское мещанство смотрело на него как на своё, собирало валежник, рубило сухостой, не брезгуя при случае и живым деревом. По осени, запасая дрова на зиму, в лес снаряжались десятки людей с топорами и верёвками за поясом.

Вот и мы трое идём на рассвете по зелёно-серебряному росному полю; слева от нас, за Окою, над рыжими боками Дятловых гор, над белым Нижним-Новгородом, в холмах зелёных садов, в золотых главах церквей, встаёт не торопясь русское ленивенькое солнце. Тихий ветер сонно веет с тихой, мутной Оки, качаются золотые лютики, отягчённые росой, лиловые колокольчики немотно опустили к земле, разноцветные бессмертники сухо торчат на малопродуктивном дёрне, раскрывает алые звезды «ночная красавица» – гвоздика...

Тёмною ратью двигается лес навстречу нам. Крылатые ели – как большие птицы; берёзы – точно девушки. Кислый запах болота течёт по полю. Рядом со мною идет собака, высунув розовый язык, останавливается и, приняхавшись, недоумённо качает лисьей головой.

Дед, в бабушкиной кацавейке, в старом картузе без козырька, щурится, чему-то улыбается, шагает тонкими ногами осторожно, точно крадётся. Бабушка, в синей кофте, в чёрной юбке и белом платке на голове, катится по земле споро – за нею трудно поспеть.

Чем ближе лес, тем оживлённее дед; потягивая воздух носом, побрякивая, он говорит вначале отрывисто, невнятно, потом, словно пьянея, весело и красиво:

– Леса – господни сады. Никто их не сеял, один ветер божий, святое дыхание уст его... Бывало, в молодости, в Жигулях, когда я бурлаком ходил... Эх, Лексей, не доведётся тебе видеть-испытать, что мною испытано! На Оке леса – от Касимова до Мурома, али – за Волгой лес, до Урала идёт, да! Всё это безмерно и пречудесно...

Бабушка смотрит на него искоса и подмигивает мне, а он, спотыкаясь о кочки, дробно сыплет сухонькие слова, засевая ими мою память.

– Вели мы из Саратова расшиву с маслом к Макарию на ярмарку, и был у нас приказчик Кирилло, из Пуреха, а водоливом – татарин касимовский, Асаф, что ли... Дошли до Жигуля, а хватил ветер верховой в глаза нам – выбились из силушки, встали на мёртвую, закачались, – сошли на берег кашу варить. А – май на земле, Волга-то морем лежит, и волна по ней стайно гуляет, будто лебеди, тысячами, в Каспий плывут. Горы-то Жигули, зелёные по-вешнему, в небо взмахнули, в небушке облака белые пасутся, солнце тает на землю золотом. Отдыхаем, любуемся, подобрели все друг ко другу; на реке-то сиверко, холодно, а на берегу – тепло, душисто! Под вечер Кирилло наш суровый был мужчина и в летах – встал на ноги, шапку снял, да и говорит: «Ну, ребята, я вам боле не начальник, не слуга, идите – сами, а я в леса отойду!» Мы все встряхнулись – как да что? Нам ведь без ответного перед хозяином человека нельзя – без головы люди не ходят! Оно хоть и Волга, а и на прямом пути сбиться можно. Народ – зверь безумный, ему – чего жалко? Испугались. А он – своё: «Не хочу боле этак жить, пастухом вашим, уйду в леса!» Мы было – которые – собрались бить его да вязать, а – которые задумались о нём, кричат: «Стойте!» А водолив-татарин тоже кричит: «И я ухожу!» Совсем беда. Ему, татарину, за две путины хозяином не плачено, да полпути в третьи сделал – большие деньги по той поре! Кричали, кричали до самой ночи, а к ночи семеро ушло от нас, остались мы – не то шестнадцать, не то – четырнадцать. Вот те и лес!

– Они – в разбойники ушли?

– Может – в разбойники, а может – в отшельники, – в ту пору не очень разбирали эти дела...

Бабушка крестится.

- Пресвятая мать божия! Как подумаешь про людей-то, так станет жалко всех.
- Всем дан один разум, – знай, куда бес тянет...

Входим в лес по мокрой тропе, среди болотных кочек и хилого ельника. Мне кажется, что это очень хорошо – навсегда уйти в лес, как ушел Кирилло из Пуреха. В лесу нет болтливых людей, драк, пьянства, там забудешь о противной жадности деда, о песчаной могиле матери, обо всём, что, обижая, давит сердце тяжёлой скукой. На сухом месте бабушка говорит:

- Надо закусить, сядемте-ка!

В лукошке у неё ржаной хлеб, зелёный лук, огурцы, соль и творог в тряпицах; дед смотрит на всё это конфузливо и мигает.

- А я ничего не взял еды-то, ох, мать честная...

- Хватит на всех...

Сидим, прислонясь к медному стволу мачтовой сосны; воздух насыщен смолистым запахом, с поля веет тихий ветер, качаются хвои; тёмной рукой бабушка срывает травы и рассказывает мне о целебных свойствах зверобоя, буквицы, подорожника, о таинственной силе папоротника, клейкого иван-чая, пыльной травы-плавуна.

Дед рубит валежник, а я должен сносить нарубленное в одно место, но я незаметно ухожу в чащу, вслед за бабушкой, – она тихонько плавает среди могучих стволов и, точно ныряя, всё склоняется к земле, осыпанной хвоей. Ходит и говорит сама с собою:

– Рано опять пошли – мало будет гриба! Плохо ты, господи, о бедных заботишься, бедному и гриб – лакомство!

Я иду за нею молча, осторожно, заботясь, чтобы она не замечала меня: мне не хочется мешать её беседе с богом, травами, лягушками...

Но она видит меня.

- Сбежал от деда-то?

И, кланяясь чёрной земле, пышно одетой в узорчатую ризу трав, она говорит о том, как однажды бог, во гневе на людей, залил землю водою и потопил всё живое.

– А премилая мать его собрала заранее все семена в лукошко, да и спрятала, а после просит солнышко: осуши землю из конца в конец, за то люди тебе славу споют! Солнышко землю высушило, а она её спрятанным зерном и засеяла. Смотрит господь: опять обрастает земля живым – и травами, и скотом, и людьми!.. Кто это, говорит, наделал против моей воли? Тут она ему покаялась, а господу-то уж и самому жалко было видеть землю пустой, и говорит он ей: это хорошо ты сделала!

Мне нравится рассказ, но я удивлён и пресерьёзно говорю:

- Разве так было? Божья-то мать родилась долго спустя после потопа.

Теперь бабушка удивлена.

- Это кто тебе сказал?

- В училище, в книжках написано...

Это её успокаивает, она советует мне:

- А ты брось-ка, забудь это, книжки все; врут они, книжки-то!

И смеётся тихонько, весело.

- Придумали, дурачки! Бог – был, а матери у него не было, эго! От кого же он родился?

- Не знаю.

- Вот хорошо! До «не знаю» доучился!

- Поп говорил, что божья мать родилась от Иоакима и Анны.

- Марья Якимовна, значит?

Бабушка уже сердится, – стоит против меня и строго смотрит прямо в глаза мне:

- Если ты эдак будешь думать, я тебя так-то ли отшлёпаю!

Но через минуту объясняет мне:

- Богородица всегда была, раньше всего! От неё родился бог, а потом...

– А Христос – как же?

Бабушка молчит, смущённо закрыв глаза.

– А Христос... да, да, да?

Я вижу, что победил, запутал её в тайнах божьих, и это мне неприятно.

Уходим всё дальше в лес, в синеватую мглу, изрезанную золотыми лучами солнца. В тепле и уюте леса тихонько дышит какой-то особенный шум, мечтательный и возбуждающий мечты. Скрипят клесты, звенят синицы, смеётся кукушка, свистит иволга, немолчно звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поёт странная птица – щур. Изумрудные лягушата прыгают под ногами между корней; подняв золотую головку, лежит уж и стерёжет их. Щёлкает белка, в лапах сосен мелькает её пушистый хвост; видишь невероятно много, хочется видеть всё больше, идти всё дальше.

Между стволов сосен являются прозрачные, воздушные фигуры огромных людей и исчезают в зелёной густоте; сквозь неё просвечивает голубое, в серебре, небо. Под ногами пышным ковром лежит мох, расшитый брусничником и сухими нитями клюквы, костяника сверкает в траве каплями крови, грибы дразнят крепким запахом.

– Пресвятая богородица, ясный свет земной, – вздыхая, молится бабушка.

Она в лесу – точно хозяйка и родная всему вокруг, – она ходит медведицей, всё видит, всё хвалит и благодарит. От неё – точно тепло течёт по лесу, и когда мох, примятый её ногой, расправляется и встаёт – мне особенно приятно это видеть.

Идёшь и думаешь: хорошо быть разбойником, грабить жадных, богатых, отдавать награбленное бедным, – пусть все будут сыты, веселы, не завистливы и не лаются друг с другом, как злые псы. Хорошо также дойти до бабушкина бога, до её богородицы и сказать им всю правду о том, как плохо живут люди, как нехорошо, обидно хоронят они друг друга в дрянном песке. И сколько вообще обидного на земле, чего вовсе не нужно. Если богородица поверит мне, пусть даст такой ум, чтоб я мог всё устроить иначе, получше как-нибудь. Пусть бы люди слушали меня с доверием, – уж я бы искал, как жить лучше! Это ничего, что я маленький, – Христос был всего на год старше меня, а уж в то время мудрецы его слушали...

Однажды, ослеплённый думами, я провалился в глубокую яму, распоров себе сучком бок и разорвав кожу на затылке. Сидел на дне, в холодной грязи, липкой, как смола, и с великим стыдом чувствовал, что сам я не вылезу, а пугать криком бабушку было неловко. Однако я позвал её.

Она живо вытащила меня и, крестясь, говорила:

– Слава те господи! Ну, ладно что пустая берлога, а кабы там да хозяин лежал?

И заплакала сквозь смех. Потом повела меня к ручью, вымыла, перевязала раны своей рубашкой, приложив каких-то листьев, утоливших боль, и отвела в железнодорожную будку, – до дому я не мог дойти, сильно ослабев.

Я стал почти каждый день просить бабушку:

– Пойдём в лес!

Она охотно соглашалась, и так мы прожили все лето, до поздней осени, собирая травы, ягоды, грибы и орехи. Собранное бабушка продавала, и этим кормились.

– Дармоеды! – скрипел дед, хотя мы совершенно не пользовались его хлебом.

Лес вызывал у меня чувство душевного покоя и уюта; в этом чувстве исчезали все мои огорчения, забывалось неприятное, и в то же время у меня росла особенная настороженность ощущений: слух и зрение становились острее, память – более чуткой, вместилище впечатлений – глубже.

И всё более удивляла меня бабушка, я привык считать её существом высшим всех людей, самым добрым и мудрым на земле, а она неустанно укрепляла это убеждение. Как-то вечером, набрав белых грибов, мы, по дороге домой, вышли на опушку леса; бабушка присела отдохнуть, а я зашёл за деревья – нет ли ещё гриба?

Вдруг слышу её голос и вижу: сидя на тропе, она спокойно срезает корни грибов, а около неё, вывесив язык, стоит серая, поджарая собака.

– А ты иди, иди прочь! – говорит бабушка. – Иди с богом!

Незадолго перед этим Валёк отравил мою собаку; мне очень захотелось приманить эту, новую. Я выбежал на тропу, собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на меня зелёным взглядом голодных глаз и прыгнула в лес, поджав хвост. Осанка у неё была не собачья, и, когда я свистнул, она дико бросилась в кусты.

– Видал? – улыбаясь, спросила бабушка. – А я вначале опозналась, думала – собака, гляжу – ан клыки-то волчьи, да и шея тоже! Испугалась даже: ну, говорю, коли ты волк, так иди прочь! Хорошо, что летом волки смиренны...

Она никогда не плутала в лесу, безошибочно определяя дорогу к дому. По запахам трав она знала, какие грибы должны быть в этом месте, какие – в ином, и часто экзаменовала меня.

– А какое дерево рыжик любит? А как ты отличишь хорошую сыроежку от ядовитой? А какой гриб любит папоротник?

По незаметным царапинам на коре дерева она указывала мне беличьи дупла, я влезал на дерево и опустошал гнездо зверька, выбирая из него запасы орехов на зиму; иногда в гнёздах их было фунтов до десяти...

И однажды, когда я занимался этим делом, какой-то охотник всадил мне в правую сторону тела двадцать семь штук бекасиной дробин; одиннадцать бабушка выковыряла иглой, а остальные сидели в моей коже долгие годы, постепенно выходя.

Бабушке нравилось, что я терпеливо отношусь к боли.

– Молодец, – хвалила она, – есть терпение, будет и уменье!

Каждый раз, когда у неё скоплялось немножко денег от продажи грибов и орехов, она раскладывала их под окнами «тихой милостыней», а сама даже по праздникам ходила в отрепье, в заплатах.

– Хуже нищей ходишь, срамишь меня, – ворчал дед.

– Ничего, я тебе – не дочь, я ведь не в невестах...

Их ссоры становились всё более частыми.

– Я не более других грешен, – обиженно кричал дед, – а наказан больше!

Бабушка поддразнивала его:

– Черти знают, кто чего стоит. И говорила мне с глазу на глаз:

– Бойтся старик мой чёртушек-то! Вон как стареет быстро, со страху-то... Эх, бедный человек...

Я очень окреп за лето и одичал в лесу, утратив интерес к жизни сверстников, к Людмиле, – она казалась мне скучно-умной...

Однажды дед пришёл из города мокрый весь – была осень, и шли дожди встряхнулся у порога, как воробей, и торжественно сказал:

– Ну, шалыган, завтра собирайся на место!

– Куда ещё? – сердито спросила бабушка.

– К сестре твоей Матрёне, к сыну её...

– Ох, отец, худо ты выдумал!

– Молчи, дура! Может, его чертёжником сделают.

Бабушка молча опустила голову. Вечером я сказал Людмиле, что ухожу в город, там буду жить.

– И меня скоро повезут туда, – сообщила она задумчиво. – Папа хочет, чтобы мне вовсе отрезали ногу, без ноги я буду здоровая.

За лето она похудела, кожа лица её стала голубоватой, а глаза выросли.

– Боишься? – спросил я.

– Боюсь, – сказала она, беззвучно заплакав. Нечем было утешить её – я сам боялся жизни в городе. Мы долго сидели в унылом молчании, прижавшись друг к другу.

Будь лето, я уговорил бы бабушку пойти по миру, как она ходила, будучи девочкой. Можно бы и Людмилу взять с собой, – я бы возил её в тележке...

Но была осень, по улице летел сырой ветер, небо окутано неиссякаемыми облаками, земля сморщилась, стала грязной и несчастной...

## IV

Я снова в городе, в двухэтажном белом доме, похожем на гроб, общий для множества людей. Дом – новый, но какой-то худосочный, вспухший, точно нищий, который внезапно разбогател и тотчас объелся до ожирения. Он стоит боком на улицу, в каждом этаже его по восемь окон, а там, где должно бы находиться лицо дома, – по четыре окна; нижние смотрят в узенький проезд, на двор, верхние – через забор, на маленький домик прачки и в грязный овраг.

Улицы, как я привык понимать её, – нет; перед домом распластался грязный овраг, в двух местах его перерезали узкие дамбы. Налево овраг выходит к арестантским ротам, в него сваливают мусор со дворов и на дне его стоит лужа густой, тёмно-зелёной грязи; направо, в конце оврага, киснет илистый Звездин пруд, а центр оврага – как раз против дома; половина засыпана сором, заросла крапивой, лопухами, конским щавелём, в другой половине священник Доримедонт Покровский развёл сад; в саду – беседка из тонких дранок, окрашенных зелёною краской. Если в эту беседку бросать камни – дранки с треском лопаются.

Место донельзя скучное, нахально грязное; осень жестоко изуродовала сорную глинистую землю, претворив её в рыжую смолу, цепко хватающую за ноги. Я никогда ещё не видал так много грязи на пространстве столь небольшом, и, после привычки к чистоте поля, леса, этот угол города возбуждал у меня тоску.

За оврагом тянутся серые, ветхие заборы, и далеко среди них я вижу бурый домишко, в котором жил зимою, будучи мальчиком в магазине. Близость этого дома ещё более угнетает меня. Почему мне снова пришлось жить на этой улице?

Хозяина моего я знаю, он бывал в гостях у матери моей вместе с братом своим, который смешно пищал:

– Андрей-папа? Андрей-папа?.

Они оба такие же, как были: старший, горбоносый, с длинными волосами, приятен и, кажется, добрый; младший, Виктор, остался с тем же лошадиным лицом и в таких же веснушках. Их мать – сестра моей бабушки – очень сердита и криклива. Старший – женат, жена у него пышная, белая, как пшеничный хлеб, у неё большие глаза, очень тёмные.

В первые же дни она раза два сказала мне:

– Я подарила матери твоей шёлковую тальму, со стеклярусом...

Мне почему-то не хотелось верить, что она подарила, а мать приняла подарок. Когда же она напомнила мне об этой тальме ещё раз, я посоветовал ей:

– Подарила, так уж не хвастайся.

Она испуганно отскочила от меня.

– Что-о? Ты с кем говоришь?

Лицо её покрылось красными пятнами, глаза выкатились, она позвала мужа.

Он пришёл в кухню с циркулем в руках, с карандашом за ухом, выслушал жену и сказал мне:

– Ей и всем надо говорит – вы. А дерзостей не надо говорить!

Потом нетерпеливо сказал жене:

– Не беспокой ты меня пустяками!

– Как – пустяки! Если твоя родня...

– Чёрт её возьми, родню! – закричал хозяин и убежал.

Мне тоже не нравилось, что эти люди – родня бабушке; по моим наблюдениям, родственники относятся друг к другу хуже чужих: больше чужих зная друг о друге худого и смешного, они злее сплетничают, чаще ссорятся и дерутся.

Хозяин понравился мне, он красиво встряхивал волосами, заправляя их за уши, и напоминал мне чем-то Хорошее Дело. Часто, с удовольствием смеялся, серые глаза смотрели добродушно, около ястребиного носа забавно играли смешные морщинки.

– Довольно вам ругаться, звери-курицы! – говорил он жене и матери, обнажая мягкой улыбкой мелкие, плотные зубы.

Свекровь и сноха ругались каждый день; меня очень удивляло, как легко и быстро они ссорятся. С утра, обе нечёсанные, расстёгнутые, они начинали метаться по комнатам, точно в доме случился пожар: сутились целый день, отдыхая только за столом во время обеда, вечернего чая и ужина. Пили и ели много, до опьянения, до усталости, за обедом говорили о кушаньях и ленивенько переругивались, готовясь к большой ссоре. Что бы ни изготовила свекровь, сноха непременно говорила:

– А моя мамаша делает это не так.

– Не так, значит – хуже!

– Нет – лучше!

– Ну, и ступай к своей мамаше.

– Я здесь – хозяйка!

– А я кто?

Вмешивался хозяин:

– Довольно, звери-курицы! Что вы-с ума сошли?

В доме всё было необъяснимо странно и смешно: ход из кухни в столовую лежал через единственный в квартире маленький, узкий клозет; через него вносили в столовую самовары и кушанье, он был предметом весёлых шуток и часто – источником смешных недоразумений. На моей обязанности лежало наливать воду в бак клозета, а спал я в кухне, против его двери и у двери на парадное крыльцо: голове было жарко от кухонной печи, в ноги дуло с крыльца; ложась спать, я собирал все половики и складывал их на ноги себе.

В большой зале, с двумя зеркалами в простенках, картинами-премиями «Нивы» в золотом багете, с парой карточных столов и дюжиной венских стульев, было пустынно и скучно. Маленькая гостиная тесно набита пёстрой мягкой мебелью, горками с «приданным», серебром и чайной посудой; её украшали три лампы, одна другой больше. В тёмной, без окон, спальне, кроме широкой кровати, стояли сундуки, шкапы, от них исходил запах листового табаку и персидской ромашки. Эти три комнаты всегда были пусты, а хозяева теснились в маленькой столовой, мешая друг другу. Тотчас после утреннего чая, в восемь часов, хозяин с братом раздвигали стол, раскладывали на нём листы белой бумаги, готовальни, карандаши, блюдца с тушью и принимались за работу, один на конце стола, другой против него. Стол качался. Он загромождал всю комнату, и когда из детской выходила нянька с хозяйкой, они задевали углы стола.

– Да не шляйтесь вы тут! – кричал Виктор.

Хозяйка обиженно просила мужа:

– Вася, скажи ему, чтоб он на меня не орал!

– А ты не тряси стол, – миролюбиво советовал хозяин.

– Я – беременная, тут – тесно...

– Ну, мы уйдем работать в залу.

Но хозяйка кричала, негодуя:

– Господи, кто же в зале работает?

Из двери клозета высовывается злое, раскалённое огнем печи лицо старухи Матрёны Ивановны, она кричит:

– Вот, Вася, гляди: ты работаешь, а она в четырёх комнатах отелиться не может. Дворянка с Гребешка, умишка ни вершка!.

Виктор ехидно смеётся, а хозяин кричит:

– Довольно!

Но сноха, облив свекровь ручьями ядовитейшего красноречия, валится на стул и стонет:  
– Уйду! Умру!

– Не мешайте мне работать, чёрт вас возьми! – орёт хозяин, бледный от натуги. – Сумасшедший дом – ведь для вас же спину ломаю, вам на корм! О, звери-курицы...

Сначала эти ссоры пугали меня, особенно я был испуган, когда хозяйка, схватив столовый нож, убежала в клозет и, заперев обе двери, начала дико рычать там. На минуту в доме стало тихо, потом хозяин упёрся руками в дверь, согнулся и крикнул мне:

– Лезь, разбей стекло, сними крючок с пробоя!

Я живо вскочил на спину его, вышиб стекло над дверью, но когда нагнулся вниз – хозяйка усердно начала колотить меня по голове черенком ножа. Я всё-таки успел отпереть дверь, и хозяин, с боем вытащив супругу в столовую, отнял у неё нож. Сидя в кухне и потирая избитую голову, я быстро догадался, что пострадал зря: нож был тупой, им даже хлеба кусок трудно отрезать, а уж кожу – никак не прорежешь; мне не нужно было влезать на спину хозяина, я мог бы разбить стекло со стула и, наконец, удобнее было снять крючок взрослому – руки у него длиннее. После этой истории – ссоры в доме больше уже не пугали меня.

Братья пели в церковном хоре; случалось, что они начинали тихонько напевать за работой, старший пел баритоном:

Кольцо души девицы  
Я в мо-ре ур-ронил...

Младший вступал тенором:

И с тем кольцом я счастье  
Земное погубил.

Из детской раздавался тихий возглас хозяйки:

– Вы с ума сошли? Ребёнок спит...

Или:

– Ты, Вася, женат, можно и не петь о девицах, к чему это? Да скоро и ко всеобщей ударят...

– Ну, так мы – церковное...

Но хозяйка внушала, что церковное вообще неуместно петь где-либо, а тут ещё... – и она красноречиво показала рукой на маленькую дверь.

– Надо будет переменить квартиру, а то – чёрт знает что! – говорил хозяин.

Не менее часто он говорил, что надо переменить стол, но он говорил это на протяжении трех лет.

Слушая беседы хозяев о людях, я всегда вспоминал магазин обуви – там говорили так же. Мне было ясно, что хозяева тоже считают себя лучшими в городе, они знают самые точные правила поведения и, опираясь на эти правила, неясные мне, судят всех людей безжалостно и беспощадно. Суд этот вызывал у меня лютую тоску и досаду против законов хозяев, нарушать законы – стало источником удовольствия для меня.

Работы у меня было много: я исполнял обязанности горничной, по средам мыл пол в кухне, чистил самовар и медную посуду, по субботам – мыл полы всей квартиры и обе лестницы. Колол и носил дрова для печей, мыл посуду, чистил овощи, ходил с хозяйкой по базару, таская за нею корзину с покупками, бегал в лавочку, в аптеку.

Моё ближайшее начальство – сестра бабушки, шумная, неукротимо гневная старуха, вставала рано, часов в шесть утра; наскоро умывшись, она, в одной рубахе, становилась на колени перед образом и долго жаловалась богу на свою жизнь, на детей, на сноху.

– Господи! – со слезами в голосе восклицает она, прижав ко лбу пальцы, сложенные шепотью. – Господи, ничего я не прошу, ничего мне не надо, – дай только отдохнуть, успокой меня, господи, силой твоею!

Её вопли будили меня; проснувшись, я смотрел из-под одеяла и со страхом слушал жаркую молитву. Осеннее утро смутно заглядывает в окно кухни, сквозь стекла, облитые дождём; на полу, в холодном сумраке, качается серая фигура, тревожно размахивая рукою; с её маленькой головы из-под сбитого платка осыпались на шею и плечи жиденькие светлые волосы, платок всё время спадал с головы; старуха, резко поправляя его левой рукой, бормочет:

– А, чтоб те рёзорвало!

С размаху бьёт себя по лбу, по животу, плечам и шипит:

– А сноху – накажи, господи, меня ради; зачти ей всё, все обиды мои! И открой глаза сыну моему, – на неё открой и на Викторушку! Господи, помоги Викторушке, подай ему милостей твоих...

Викторушка спит тут же в кухне, на полатях; разбуженный стонами матери, он кричит сонным голосом:

– Мамаша, опять вы орёте спозаранку! Это просто беда! – Ну, ну, спи себе, – виновато шепчет старуха. Минуту, две качается молча и вдруг снова мстительно возглашает: – И чтоб постреляло их в кости, и ни дна бы им ни покрывки, господи...

Так страшно даже дедушка мой не молился.

Помолясь, она будила меня:

– Вставай, будет дрыхнуть, не затем живешь!.. Ставь самовар, дров неси, – лучины-то не приготовил с вечера? У!

Я стараюсь делать всё быстро, только бы не слышать шипучего шопота старухи, но угодить ей – невозможно; она носится по кухне, как зимняя вьюга, и шипит, завывая:

– Тише, бес! Викторушку разбудишь, я те задам! Беги в лавочку...

По будням к утреннему чаю покупали два фунта пшеничного хлеба и на две копейки грошовых булочек для молодой хозяйки. Когда я приносил хлеб, женщины подозрительно осматривали его и, взвешивая на ладони, спрашивали:

– А привеска не было? Нет? Ну-ка, открой рот! – и торжествующе кричали: – Сожрал привесок, вон крошки-то в зубах!

...Работал я охотно, – мне нравилось уничтожать грязь в доме, мыть полы, чистить медную посуду, отдушники, ручки дверей; я не однажды слышал, как в мирные часы женщины говорили про меня:

– Усердный.

– Чистоплотен.

– Только дерзок очень.

– Ну, матушка, кто ж его воспитывал!

И обе старались воспитывать во мне почтение к ним, но я считал их полоумными, не любил, не слушал и разговаривал с ними зуб за зуб. Молодая хозяйка, должно быть, замечала, как плохо действуют на меня некоторые речи, и поэтому всё чаще говорила:

– Ты должен помнить, что взят из нищей семьи! Я твоей матери шёлковую тальму подарила. Со стеклярусом!

Однажды я сказал ей:

– Что же, мне за эту тальму шкуру снять с себя для вас?

– Батюшки, да он поджечь может! – испуганно вскричала хозяйка.

Я был крайне удивлен: почему – поджечь?

Они обе то и дело жаловались на меня хозяину, а хозяин говорил мне строго:

– Ты, брат, смотри у меня!

Но однажды он равнодушно сказал жене и матери:

– Тоже и вы хороши! Ездите на мальчишке, как на мерине, – другой бы давно убежал али издох от такой работы...

Это рассердило женщин до слёз; жена, топая ногою, кричала иступлённо:

– Да разве можно при нём так говорить, дурак ты длинноволосый! Что же я для него, после этих слов? Я женщина беременная.

Мать выла плачевно:

– Бог тебя прости, Василий, только – помяни мое слово – испортишь ты мальчишку!

Когда они ушли, в гневе, – хозяин строго сказал:

– Видишь, чёртушка, какой шум из-за тебя? Вот я отправлю тебя к дедушке, и будешь снова тряпичником!

Не стерпев обиды, я сказал:

– Тряпичником-то лучше жить, чем у вас! Приняли в ученики, а чему учите? Помои выносить...

Хозяин взял меня за волосы, без боли, осторожно и, заглядывая в глаза мне, сказал удивлённо:

– Однако ты ёрш! Это, брат, мне не годится, не-ет...

Я думал – меня прогонят, но через день он пришёл в кухню с трубкой толстой бумаги в руках, с карандашом, угольником и линейкой.

– Кончишь чистить ножи – нарисуй вот это!

На листе бумаги был изображён фасад двухэтажного дома со множеством окон и лепных украшений.

– Вот тебе циркуль! Смеряй все линии, нанеси концы их на бумагу точками, потом проведи по линейке карандашом от точки до точки. Сначала вдоль – это будут горизонтальные, потом поперёк – это вертикальные. Валяй! Я очень обрадовался чистой работе и началу учения, но смотрел на бумагу и инструменты с благоговейным страхом, ничего не понимая.

Однако тотчас же, вымыв руки, сел учиться. Провёл на листе все горизонтальные, сверил – хорошо! Хотя три оказались лишними. Провёл все вертикальные и с изумлением увидел, что лицо дома нелепо исказилось: окна перебрались на места простенков, а одно, выехав за стену, висело в воздухе, по соседству с домом. Парадное крыльцо тоже поднялось на воздух до высоты второго этажа, карниз очутился посредине крыши, слуховое окно – на трубе.

Я долго, чуть не со слезами, смотрел на эти непоправимые чудеса, пытаюсь понять, как они совершились. И, не поняв, решил исправить дело помощью фантазии: нарисовал по фасаду дома на всех карнизах и на гребне крыши ворон, голубей, воробьёв, а на земле перед окном – кривоногих людей, под зонтиками, не совсем прикрывшими их уродства. Затем исчертил всё это наискось полосками и отнёс работу учителю.

Он высоко поднял брови, взбил волосы и угрюмо осведомился:

– Это что же такое?

– Дождик идёт, – объяснил я. – При дожде все дома кажутся кривыми, потому что дождик сам – кривой всегда. Птицы – вот это всё птицы спрятались на карнизах. Так всегда бывает в дождь. А это – люди бегут домой, вот – барыня упала, а это разносчик с лимонами...

– Покорно благодарю, – сказал хозяин и, склонясь над столом, сметая бумагу волосами, захохотал, закричал: – Ох, чтоб тебя вдребезги разнесло, зверь-воробей!

Пришла хозяйка, покачивая животом, как бочонком, посмотрела на мой труд и сказала мужу:

– Ты его выпори!

Но хозяин миролюбиво заметил:

– Ничего, я сам начинал не лучше...

Отметив красным карандашом разрушения фасада, он дал мне ещё бумаги.

– Валяй ещё раз! Будешь чертить это, пока не добьёшься толку.

Вторая копия у меня вышла лучше, только окно оказалось на двери крыльца. Но мне не понравилось, что дом пустой, и я населил его разными жителями: в окнах сидели барыни с веерами в руках, кавалеры с папиросами, а один из них, некурящий, показывал всем длинный нос. У крыльца стоял извозчик и лежала собака.

– Зачем же ты опять напачкал? – сердито спросил хозяин.

Я объяснил ему, что без людей – скучно очень, но он стал ругаться.

– К чёрту всё это! Если хочешь учиться – учись! А это – озорство...

Когда мне наконец удалось сделать копию фасада похожей на оригинал, это ему понравилось.

– Вот видишь, сумел же! Этак, пожалуй, мы с тобой дойдём до дела скоро...

И задал мне урок:

– Сделай план квартиры: как расположены комнаты, где двери, окна, где что стоит. Я указывать ничего не буду – делай сам!

Я пошёл в кухню и задумался – с чего начать?

Но на этой точке и остановилось моё изучение чертёжного искусства.

Подошла ко мне старуха хозяйка и зловеще спросила:

– Чертить хочешь?

Схватив за волосы, она ткнула меня лицом в стол так, что я разбил себе нос и губы, а она, подпрыгивая, изорвала чертёж, сошвырнула со стола инструменты и, уперев руки в бока, победоносно закричала:

– На, черти?! Нет, это не сойдется! Чтобы чужой работал, а брата единого, родную кровь – прочь?

Прибежал хозяин, приплыла его жена, и начался дикий скандал: все трое наскakивали друг на друга, плевались, выли, а кончилось это тем, что, когда бабы разошлись плакать, хозяин сказал мне:

– Ты куда брось всё это, не учись – сам видишь, вон что выходит!

Мне было жалко его – такой он измятый, беззащитный и навеки оглушён криками баб.

Я и раньше понимал, что старуха не хочет, чтобы я учился, нарочно мешает мне в этом.

Прежде чем сесть за чертёж, я всегда спрашивал её:

– Делать нечего?

Она хмуро отвечала:

– Когда будет – скажу, торчи знай за столом, балуйся...

И через некоторое время посылала меня куда-нибудь или говорила:

– Как у тебя парадная лестница выметена? В углах – сорьё, пыль! Иди мети...

Я шёл, смотрел – пыли не было.

– Ты спорить против меня? – кричала она.

Однажды она облила мне все чертежи квасом, другой раз опрокинула на них лампаду масла от икон, – она озорничала, точно девчонка, с детской хитростью и с детским неумением скрыть хитрости. Ни прежде, ни после я не видал человека, который раздражался бы так быстро и легко, как она, и так страстно любил бы жаловаться на всех и на всё. Люди вообще и все любят жаловаться, но она делала это с наслаждением особенным, точно песню пела.

Её любовь к сыну была подобна безумию, смешила и пугала меня своей силой, которую я не могу назвать иначе, как яростной силой. Бывало, после утренней молитвы, она встанет на приступок печи и, положив локти на крайнюю доску полатей, горячо шипит:

– Случайный ты мой, божий, кровинушка моя горячая, чистая, алмазная, ангельское перо лёгкое! Спит, – спи, робёнок, одень твою душеньку весёлый сон, приснишь тебе невестушка, первая красавица, королевична, богачка, купецкая дочь! А недругам твоим – не родясь издохнуть, а дружкам – жить им до ста лет, а девицы бы за тобой – стаями, как утки за селезнем!

Мне нестерпимо смешно: грубый и ленивый Виктор похож на дятла – такой же пёстрый, большеносый, такой же упрямый и тупой.

Шопот матери иногда будил его, и он бормотал сонно:

– Подите вы к чёрту, мамаша, что вы тут фыркаете прямо в рожу мне!.. Жить нельзя!

Иногда она покорно слезала с приступка, усмехаясь:

– Ну, спи, спи... грубиян!

Но бывало и так: ноги её подгибались, шлепнувшись на край печи, она, открыв рот, громко дышала, точно обожгла язык, и клокотали жгучие слова:

– Та-ак? Это ты мать к чёрту послал, сукин сын? Ах ты, стыд мой полуночный, заноза проклятая, дьявол тебя в душу мою засадил, сгнить бы тебе до рождения!

Она говорила слова грязные, слова пьяной улицы – было жутко слышать их.

Спала она мало, беспокойно, вскакивая с печи иногда по нескольку раз в ночь, валилась на диван ко мне и будила меня.

– Что вы?

– Молчи, – шептала она, крестясь, присматриваясь к чему-то в темноте. – Господи... Илья пророк... Великомученица Варвара... сохрани нечаянные смерти...

Дрожащей рукой она зажигала свечу. Её круглое носатое лицо напряжённо надувалось, серые глаза, тревожно мигая, присматривались к вещам, изменённым сумраком. Кухня – большая, но загромождена шкафами, сундуками; ночью она кажется маленькой. В ней тихонько живут лунные лучи, дрожит огонёк неугасимой лампы пред образами, на стене сверкают ножи, как ледяные сосульки, на полках – чёрные сковородки, чьи-то безглазые рожи.

Старуха слезала с печи осторожно, точно с берега реки в воду, и, шлёпая босыми ногами, шла в угол, где над лоханью для помоев висел ушастый рукомойник, напоминая отрубленную голову; там же стояла кадка с водой.

Захлёбываясь и вздыхая, она пила воду, потом смотрела в окно, сквозь голубой узор инея на стёклах.

– Помилуй мя, боже, помилуй мя, – просит она шопотом.

Иногда, погасив свечу, опускалась на колени и обиженно шипела:

– Кто меня любит, господи, кому я нужна?

Влезая на печь и перекрестив дверцу в трубе, она щупала, плотно ли лежат вьюшки; выпачкав руки сажей, отчаянно ругалась и как-то сразу засыпала, точно её пришибла невидимая сила. Когда я был обижен ею, я думал: жаль, что не на ней женился дедушка, – вот бы грызла она его!. Да и ей доставалось бы на орехи. Обижала она меня часто, но бывали дни, когда пухлое, ватное лицо её становилось грустным, глаза тонули в слезах и она очень убедительно говорила:

– Ты думаешь – легко мне? Родила детей, нянчила, на ноги ставила – для чего? Вот – живу кухаркой у них, сладко это мне? Привёл сын чужую бабу и променял на неё свою кровь – хорошо это? Ну?

– Нехорошо, – искренне говорил я.

– Ага? То-то...

И она начинала бесстыдно говорить о снохе:

– Бывала я с нею в бане, видела её! На что польстился? Такие ли красавицами зовутся?...

Об отношениях мужчин к женщинам она говорила всегда изумительно грязно; сначала её речи вызывали у меня отвращение, но скоро я привык слушать их внимательно, с большим интересом, чувствуя за этими речами какую-то тяжкую правду.

– Баба – сила, она самого бога обманула, вот как! – жужжала она, пристукивая ладонью по столу. – Из-за Евы все люди в ад идут, на-ка вот!

О силе женщины она могла говорить без конца, и мне всегда казалось, что этими разговорами она хочет кого-то напугать. Я особенно запомнил, что «Ева – бога обманула».

На дворе нашем стоял флигель, такой же большой, как дом; из восьми квартир двух зданий в четырёх жили офицеры, в пятой – полковой священник. Весь двор был полон денщиками, вестовыми, к ним ходили прачки, горничные, кухарки; во всех кухнях постоянно разыгрывались романы и драмы, со слезами, бранью, дракой. Дрались солдаты друг с другом, с землекопами, рабочими домохозяина; били женщин. На дворе постоянно кипело то, что называется развратом, распутством, – звериный, неукротимый голод здоровых парней. Эта жизнь, насыщенная жестокой чувственностью, бессмысленным мучительством, грязной хвастливостью победителей, подробно и цинично обсуждалась моими хозяевами за обедом, вечерним чаем и ужином. Старуха всегда знала все истории на дворе и рассказывала их горячо, злорадно.

Молодая слушала эти рассказы, молча улыбаясь пухлыми губами. Виктор хохотал, а хозяин, морщась, говорил:

– Довольно, мамаша...

– Господи, уж и слова мне нельзя сказать! – жаловалась рассказчица.

Виктор поощрял её:

– Валяйте, мамаша, чего стесняться! Всё свои ведь...

Старший сын относился к матери с брезгливым сожалением, избегал оставаться с нею один на один, а если это случалось, мать закидывала его жалобами на жену и обязательно просила денег. Он торопливо совал ей в руку рубль, три, несколько серебряных монет.

– Напрасно вы, мамаша, берёте деньги, не жалко мне их, а – напрасно!

– Я ведь для нищих, я – на свечи, в церковь...

– Ну, какие там нищие! Испортите вы Виктора вконец.

– Не любишь ты брата, великий грех на тебе!

Он уходил, отмахиваясь от неё.

Виктор обращался с матерью грубо, насмешливо. Он был очень прожорлив, всегда голодал. По воскресеньям мать пекла оладьи и всегда прятала несколько штук в горшок, ставя его под диван, на котором я спал; приходя от обедни, Виктор доставал горшок и ворчал:

– Не могла больше-то, гвозди-kozyри!

– А ты жри скорее, чтобы не увидели...

– Я нарочно скажу, как ты для меня оладьи воруеть, вилки в затылке!

Однажды я достал горшок и съел пару оладей, – Виктор избил меня за это. Он не любил меня так же, как и я его, издевался надо мною, заставлял по три раза в день чистить его сапоги, а ложась спать на полати, раздвигал доски и плевал в щели, стараясь попасть мне на голову.

Должно быть, подражая брату, который часто говорил «звери-курицы», Виктор тоже употреблял поговорки, но все они были удивительно нелепы и бессмысленны.

– Мамаша – кругом направо! – где мои носки?

Он преследовал меня глупыми вопросами:

– Алёшка, отвечай: почему пишется – синенький, а говорится – финики? Почему говорят – колокола, а не – около кола? Почему – к дереву, а не где плачу?

Мне не нравилось, как все они говорят; воспитанный на красивом языке бабушки и деда, я вначале не понимал такие соединения несоединимых слов, как «ужасно смешно», «до смерти хочу есть», «страшно весело»; мне казалось, что смешное не может быть ужасным, весёлое – не страшно и все люди едят вплоть до дня смерти.

Я спрашивал их:

– Разве можно так говорить?

Они ругались:

– Какой учитель, скажите? Вот – нарвать уши...

Но и «нарвать уши» казалось мне неправильным: нарвать можно травы, цветов, орехов.

Они пытались доказать мне, что уши тоже можно рвать, но это не убеждало меня, и я с торжеством говорил:

– А всё-таки уши-то не оторваны!

Крутом было так много жестокого озорства, грязного бесстыдства неизмеримо больше, чем на улицах Кунавина, обильного «публичными домами», «гулящими» девицами. В Кунавине за грязью и озорством чувствовалось нечто, объяснявшее неизбежность озорства и грязи: трудная, полуголодная жизнь, тяжёлая работа. Здесь жили сытно и легко, работу заменяла непонятная, ненужная суতোлка, суета. И на всём здесь лежала какая-то едкая, раздражающая скука.

Плохо мне жилось, но ещё хуже чувствовал я себя, когда приходила в гости ко мне бабушка. Она являлась с чёрного крыльца, входя в кухню, крестилась на образа, потом в пояс кланялась младшей сестре, и этот поклон, точно многопудовая тяжесть, сгибал меня, душил.

– А, это ты, Акулина, – небрежно и холодно встречала бабушку моя хозяйка.

Я не узнавал бабушки: скромно поджав губы, незнакомо изменив всё лицо, она тихонько садилась на скамью у двери, около лохани с помоями, и молчала, как виноватая, отвечая на вопросы сестры тихо, покорно.

Это мучило меня, и я сердито говорил:

– Что ты где села?

Ласково подмигнув мне, она отзывалась внушительно:

– А ты помалкивай, ты здесь не хозяин!

– Он всегда суется не в свое дело, хоть бей его, хоть ругай, начинала хозяйка свои жалобы.

Нередко она злорадно спрашивала сестру:

– Что, Акулина, нищенкой живешь?

– Эка беда...

– И всё – не беда, коли нет стыда.

– Говорят – Христос тоже милостыней жил...

– Болваны это говорят, еретики, а ты, старая дура, слушаешь! Христос не нищий, а сын божий, он придёт, сказано, со славою судить живых и мёртвых – и мертвых, помни! От него не спрячешься, матушка, хоть в пепел сожгись... Он тебе с Василием оплатит за гордость вашу, за меня, как я, бывало, помощи просила у вас, богатых!

– Я ведь посылно помогала тебе, – равнодушно говорила бабушка. – А господь нам оплатил, ты знаешь...

– Мало вам! Мало...

Сестра долго пилила и скребла бабушку своим неумолимым языком, а я слушал её злой визг и тоскливо недоумевал: как может бабушка терпеть это? И не любил её в такие минуты.

Выходила из комнат молодая хозяйка, благосклонно кивала головою бабушке.

– Идите в столовую, ничего, идите!

Сестра кричала вслед бабушке:

– Ноги оботри, деревня еловая, на болоте строена!

Хозяин встречал бабушку весело:

– А, премудрая Акулина, как живёшь? Старичок Каширин дышит?

Бабушка улыбалась ему своей улыбкой из души.

– Всё гнёшься, работаешь?

– Всё работаю! Как арестант.

С ним бабушка говорила ласково и хорошо, но – как старшая. Иногда он вспоминал мою мать:

– Да-а, Варвара Васильевна... Какая женщина была – богатерь, а?

Жена его обращалась к бабушке и вставляла слово:

– Помните, я ей тальму подарила, чёрную, шёлковую, со стеклярусом?

– Как же...

– Совсем ещё хорошая тальма была...

- Да-да, – бормотал хозяин, – тальма, пальма, а жизнь – шельма!
- Что это ты говоришь? – подозрительно спрашивала его жена.
- Я? Так себе... Дни весёлые проходят, люди хорошие проходят...
- Не понимаю я, к чему это у тебя? – беспокоилась хозяйка.

Потом бабушку уводят смотреть новорождённого, я собираю со стола грязную чайную посуду, а хозяин говорит мне негромко и задумчиво:

- Хороша старуха, бабушка твоя...

Я глубоко благодарен ему за эти слова, а оставшись глаз на глаз с бабушкой, говорю ей, с болью в душе:

- Зачем ты ходишь сюда, зачем? Ведь ты видишь, какие они...

– Эх, Олёша, я всё вижу, – отвечает она, глядя на меня с доброй усмешкой на чудесном лице, и мне становится совестно: ну, разумеется, она всё видит, всё знает, знает и то, что живёт в моей душе этой минутой.

Осторожно оглянувшись, не идет ли кто, она обнимает меня, задушевно говоря:

– Не пришла бы я сюда, кабы не ты здесь, – зачем они мне? Да дедушка захворал, провозилась я с ним, не работала, денег нету у меня... А сын, Михаила, Сашу прогнал, поить-кормить надо его. Они обещали за тебя шесть рублей в год давать, вот я и думаю – не дадут ли хоть целковый? Ты ведь около полугода прожил уж... – И шепчет на ухо мне: – Они велели пожурить тебя, поругать, не слушаешься никого, говорят. Уж ты бы, голуба душа, пожил у них, потерпел годочка два, пока окрепнешь! Потерпи, а?

Я обещал терпеть. Это очень трудно. Меня давит эта жизнь, нищая, скучная, вся в суете, ради еды, и я живу, как во сне.

Иногда мне думается: надо убежать! Но стоит окаянная зима, по ночам воют вьюги, на чердаке возится ветер, трещат стропила, сжатые морозом, куда убежишь?

Гулять меня не пускали, да и времени не было гулять: короткий зимний день истлевал в суете домашней работы неуловимо быстро.

Но я обязан был ходить в церковь; по субботам – ко всенощной, по праздникам – к поздней обедне.

Мне нравилось бывать в церквях; стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас – он точно плавится в огнях свеч, стекая густо-золотыми ручьями на серый каменный пол амвона; тихонько шевелятся тёмные фигуры икон; весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчёлы, а головы женщин и девушек похожи на цветы.

Всё вокруг гармонично слито с пением хора, всё живёт странную жизнью сказки, вся церковь медленно покачивается, точно люлька, – качается в густой, как смола, тёмной пустоте.

Иногда мне казалось, что церковь погружена глубоко в воду озера, спряталась от земли, чтобы жить особенною, ни на что не похожую жизнью. Вероятно, это ощущение было вызвано у меня рассказом бабушки о граде Китеже, и часто я, дремотно покачиваясь вместе со всем окружающим, убаюканный пением хора, шорохом молитв, вздохами людей, твердил про себя певучий, грустный рассказ:

Обложили окаянные татарове  
Да своей поганой силищей,  
Обложили они славен Китеж-град  
Да во светлый час, заутренний...  
Ой ли, господи, боже наш,  
Пресвятая богородица!  
Ой, сподобьте вы рабей своих  
Достоять им службу утренню,

Дослушать святое писание!  
Ой, не дайте татарину  
Святу церкву на глумление,  
Жён, девиц – на посрамление,  
Малых детушек – на игрище,  
Старых старцев на смерть лютую!  
А услышал господь Саваоф,  
Услыхала богородица  
Те людские вздыхания,  
Христианские жалости.  
И сказал господь Саваоф.  
Свет архангеле Михаиле:  
– А поди-ка ты, Михайло,  
Сотряхни землю под Китежем,  
Погрузи Китеж во озеро;  
Ин пускай там люди молятся  
Без отдыху да без устали  
От заутрени до всенощной  
Все святы службы церковные  
Во веки и века веков!

В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей медом: кажется, я и думал в форме её стихов.

В церкви я не молился, – было неловко пред богом бабушки повторять сердитые дедовы молитвы и плачевные псалмы; я был уверен, что бабушкину богу это не может нравиться, так же как не нравилось мне, да к тому же они напечатаны в книгах, – значит, бог знает их на память, как и все грамотные люди.

Поэтому в церкви, в те минуты, когда сердце сжималось сладкой печалью о чём-то или когда его кусали и царапали маленькие обиды истекшего дня, я старался сочинять свои молитвы; стоило мне задуматься о невесёлой доле моей – сами собою, без усилий, слова слагались в жалобы:

Господи, господи – скушно мне!  
Хоть бы уж скорее вырасти!  
А то – жить терпенья нет,  
Хоть удавись, – господи прости!

Из ученья – не выходит толку.  
Чоргова кукла, бабушка Матрёна,  
Рычит на меня волком,  
И жить мне – очень солоно!

Много «молитв» моих я и до сего дня помню, – работа ума в детстве ложится на душу слишком глубокими шрамами – часто они не зарастают всю жизнь.

В церкви было хорошо, я отдыхал там так же, как в лесу и поле. Маленькое сердце, уже знакомое со множеством обид, выпачканное злой грубостью жизни, омывалось в неясных, горячих мечтах.

Но я ходил в церковь только в большие морозы или когда вьюга бешено металась по городу, когда кажется, что небо замёрзло, а ветер распылил его в облака снега, и земля, тоже замерзая под сугробами, никогда уже не воскреснет, не оживёт.

Тихими ночами мне больше нравилось ходить по городу, из улицы в улицу, забираясь в самые глухие углы. Бывало, идёшь – точно на крыльях несёшься; один, как луна в небе; перед тобою ползёт твоя тень, гасит искры света на снегу, смешно тычется в тумбы, в заборы. Посредине улицы шагает ночной сторож, с трещоткой в руках, в тяжёлом тулупе, рядом с ним – трясётся собака.

Неуклюжий человек похож на собачью конуру, – она ушла со двора и двигается по улице, неизвестно куда, а огорчённая собака – за нею.

Иногда встретятся весёлые барышни и кавалеры – я думаю, что и они тоже убежали от всенощной.

Порою, сквозь форточки освещённых окон, в чистый воздух прольются какие-то особенные запахи – тонкие, незнакомые, намекающие на иную жизнь, неведомую мне; стоишь под окном и, принохиваясь, прислушиваясь, догадываешься: какая это жизнь, что за люди живут в этом доме? Всенощная, а они – весело шумят, смеются, играют на каких-то особенных гитарах, из форточки густо течёт меднострунный звон.

Особенно интересовал меня одноэтажный, приземистый дом на углу безлюдных улиц – Тихоновской и Мартыновской. Я наткнулся на него лунною ночью, в ростепель, перед масляницей; из квадратной форточки окна, вместе с тёплым паром, струился на улицу необыкновенный звук, точно кто-то очень сильный и добрый пел, закрыв рот; слов не слышно было, но песня показалась мне удивительно знакомой и понятной, хотя слушать её мешал струнный звон, надоедливо перебивая течение песни. Я сел на тумбу, сообразив, что это играют на какой-то скрипке, чудесной мощности и невыносимой – потому что слушать её был почти больно. Иногда она пела с такой силой, что – казалось – весь дом дрожит и гудят стёкла в окне. Капало с крыши, из глаз у меня тоже закапали слёзы.

Незаметно подошёл ночной сторож и столкнул меня с тумбы, спрашивая:

– Ты чего тут торчишь?

– Музыка, – объяснил я.

– Мало ли что! Пошёл...

Я быстро обежал кругом квартала, снова воротился по окну, но в доме уже не играли, из форточки бурно вытекал на улицу весёлый шум, и это было так не похоже на печальную музыку, точно я слышал её во сне.

Почти каждую субботу я стал бегать к этому дому, но только однажды, весной, снова услышал там виолончель – она играла почти непрерывно до полуночи; когда я воротился домой, меня отколотили.

Ночные прогулки под зимними звёздами, среди пустынных улиц города, очень обогащали меня. Я нарочно выбирал улицы подальше от центра: на центральных было много фонарей, меня могли заметить знакомые хозяев, тогда хозяева узнали бы, что я прогуливаю всенощные. Мешали пьяные, городовые и «гулящие» девицы; а на дальних улицах можно было смотреть в окна нижних этажей, если они не очень замёрзли и не занавешены изнутри.

Много разных картин показали мне эти окна: видел я, как люди молятся, целуются, дерутся, играют в карты, озабоченно и беззвучно беседуют, – предо мною, точно в панораме за копейку, тянулась немая, рыбаья жизнь.

Видел я в подвале, за столом, двух женщин, – молодую и постарше; против них сидел длинноволосый гимназист и, размахивая рукой, читал им книгу. Молодая слушала, сурово нахмутив брови, откинувшись на спинку стула; а постарше – тоненькая и пышноволосяя – вдруг закрыла лицо ладонями, плечи у неё задрожали, гимназист отшвырнул книгу, а когда

молоденькая, вскочив на ноги, убежала – он упал на колени перед той, пышноволосою, и стал целовать руки её.

В другом окне я подсмотрел, как большой бородатый человек, посадив на колени себе женщину в красной кофте, качал её, как дитя, и, видимо, что-то пел, широко открывая рот, выкатив глаза. Она вся дрожала от смеха, запрокидывалась на спину, болтая ногами, он выпрямлял её и снова пел, и снова она смеялась. Я смотрел на них долго и ушёл, когда понял, что они запаслись весельем на всю ночь.

Много подобных картин навсегда осталось в памяти моей, и часто, увлечённый ими, я опаздывал домой. Это возбуждало подозрения хозяев, и они допрашивали меня:

– В какой церкви был? Какой поп служил?

Они знали всех попов города, знали, когда какое евангелие читают, знали всё – им было легко поймать меня во лжи.

Обе женщины поклонялись сердитому богу моего деда, – богу, который требовал, чтобы к нему приступали со страхом; имя его постоянно было на устах женщин, – даже ругаясь, они грозили друг другу:

– погоди! Господь тебя накажет, он те скрючит, подлюю!..

В воскресенье первой недели поста старуха пекла оладьи, а они всё подгорали у неё; красная от огня, она гневно кричала:

– А, черти бы вас взяли...

И вдруг, понюхав сковороду, потемнела, швырнула сковородник на пол и завyla:

– Ба-атюшки, сковорода-то скоромная, поганая, не выжгла ведь я её в чистый-то понедельник, го-осподи! Встала на колени и просила со слезами:

– Господи-батюшка, прости меня, окаянную, ради страстей твоих! Не покарай, господи, дуру старую...

Выпечённые оладьи отдали собакам, сковородку выжгли, а невестка стала в ссорах упрекать свекровь:

– Вы даже в посте на скоромных сковородах печёте...

Они вовлекали бога своего во все дела дома, во все углы своей маленькой жизни – от этого нищая жизнь приобретала внешнюю значительность и важность, казалась ежечасным служением высшей силе. Это вовлечение бога в скучные пустышки подавляло меня, и невольно я всё оглядывался по углам, чувствуя себя под чьим-то невидимым надзором, а ночами меня окутывал холодным облаком страх, – он исходил из угла кухни, где перед тёмными образами горела неугасимая лампада.

Рядом с полкой – большое окно, две рамы, разъединённые стойкой; бездонная синяя пустота смотрит в окно, кажется, что дом, кухня, я – всё висит на самом краю этой пустоты и, если сделать резкое движение, всё сорвётся в синюю, холодную дыру и полетит куда-то мимо звёзд, в мёртвой тишине, без шума, как тонет камень, брошенный в воду. Долго я лежал неподвижно, боясь перевернуться с боку на бок, ожидая страшного конца жизни.

Не помню, как я вылез из этого страха, но я вылез скоро; разумеется, мне помог в этом добрый бог бабушки, и я думаю, что уже тогда почувствовал простую истину: мною ничего плохого ещё не сделано, без вины наказывать меня – не закон, а за чужие грехи я не ответчик.

Прогуливал я и обедни, особенно весною, – непоборимые силы её решительно не пускали меня в церковь. Если же мне давали семишник на свечку – это окончательно губило меня: я покупал бабок, всю обедню играл и неизбежно опаздывал домой. А однажды ухитрился проиграть целый гривенник, данный мне на поминание и просфору, так что уж пришлось стащить чужую просфору с блюда, которое дьячок вынес из алтаря.

Играть хотелось страстно, и я увлекался играми до неистовства. Был достаточно ловок, силён и скоро заслужил славу игрока в бабки, в шар и в городки в ближних улицах.

Великим постом меня заставили говеть, и вот я иду исповедоваться к нашему соседу, отцу Доримедонту Покровскому. Я считал его человеком суровым и был во многом грешен лично перед ним; разбивал камнями беседку в его саду, враждовал с его детьми, и вообще он мог напомнить мне немало разных поступков, неприятных ему. Это меня очень смущало, и, когда я стоял в бедненькой церкви, ожидая очереди исповедоваться, сердце моё билось трепетно.

Но отец Доримедонт встретил меня добродушно ворчливым восклицанием:

– А, сосед... Ну, вставай на колени! В чём грешен?

Он накрыл голову мою тяжёлым бархатом, я задышался в запахе воска и ладана, говорить было трудно и не хотелось.

– Старших слушаешься?

– Нет.

– Говори – грешен!

Неожиданно для себя я выпалил:

– Просвиры своровал.

– Это – как же? Где? – спросил священник, подумав и не спеша.

– У Трёх Святителей, у Покрова, у Николы...

– Ну-ну, по всем церквам! Это, брат, нехорошо, грех, – понимаешь?

– Понимаю.

– Говори – грешен! Несуразный. Воровал-то, чтобы есть?

– Когда ел, а то – проиграю деньги в бабки, а просвиру домой надо принести, я и украду...

Отец Доримедонт начал что-то шептать, невнятно и устало, потом задал ещё несколько вопросов и вдруг строго спросил:

– Не читал ли книг подпольного издания?

Я, конечно, не понял вопроса и переспросил:

– Чего?

– Запрещённых книжек не читал ли?

– Нет, никаких...

– Отпускаются тебе грехи твои... Встань!

Я удивлённо взглянул в лицо ему – оно казалось задумчивым и добрым. Мне было неловко, совестно: отправляя меня на исповедь, хозяева наговорили о ней страхов и ужасов, убедив каяться честно во всех прегрешениях моих.

– Я в вашу беседку камнями кидал, – заявил я.

Священник поднял голову и сказал:

– И это нехорошо! Ступай...

– И в собаку кидал...

– Следующий! – позвал отец Доримедонт, глядя мимо меня.

Я ушёл, чувствуя себя обманутым и обиженным: так напрягался в страхе исповеди, а всё вышло не страшно и даже не интересно! Интересен был только вопрос о книгах, неведомых мне; я вспомнил гимназиста, читавшего в подвале книгу женщинам, и вспомнил Хорошее Дело, – у него тоже было много чёрных книг, толстых, с непонятными рисунками.

На другой день мне дали пятиалтынный и отправили меня причащаться. Пасха была поздняя, уже давно стаял снег, улицы просохли, по дорогам курилась пыль; день был солнечный, радостный.

Около церковной ограды азартно играла в бабки большая компания мастеровых; я решил, что успею причаститься, и попросил игроков:

– Примите меня!

– Копейку за вход в игру, – гордо заявил рябой и рыжий человек.

Но я не менее гордо сказал:

- Три под вторую пару слева!
- Деньги на кон!
- И началась игра!

Я разменял пятиалтынный, положил три копейки под пару бабок в длинный кон; кто собьёт эту пару – получает деньги, промахнётся – я получу с него три копейки. Мне повезло: двое целились в мои деньги, и оба не попали, – я выиграл шесть копеек со взрослых, с мужиков. Это очень подняло дух мой...

Но кто-то из игроков сказал:

- Гляди за ним, ребята, а то убежит с выигрышем...

Тут я обиделся и объявил сгоряча, как в бубен ударил:

- Девять копеек под левой крайней парой!

Однако это не вызвало у игроков заметного впечатления, только какой-то мальчуган моих лет крикнул, предупреждая:

- Смотрите, – он счастливый, это чертёжник со Звездинки, я его знаю!

Худощавый мастеровой, по запаху скорняка, сказал ехидно:

- Чертёнок? Хар-рошо...

Прицелившись налитком, он метко сбил мою ставку и спросил, нагибаясь ко мне:

- Ревёшь?

Я ответил:

- Под крайней правой – три!

- И сотру, – похвастался скорняк, но проиграл.

Больше трёх раз кряду нельзя ставить деньги на кон, – я стал бить чужие ставки и выиграл ещё копейки четыре да кучу бабок. Но когда снова дошла очередь до меня, я поставил трижды и проиграл все деньги, как раз вовремя обедня кончилась, звонили колокола, народ выходил из церкви.

– Женат? – спросил скорняк, намереваясь схватить меня за волосы, но я вывернулся, убежал и, догнав какого то празднично одетого паренька, вежливо осведомился:

- Вы причащались?

- Ну, так что? – ответил он, осматривая меня подозрительно.

Я попросил его рассказать мне, как причащают, что говорит в это время священник и что должен был делать я.

Парень сурово избычился и устрашающим голосом зарычал:

– Прогоулял причастье, еретик? Ну, а я тебе ничего не скажу – пускай отец шкуру спустит с тебя!

Я побежал домой, уверенный, что начнут расспрашивать и неизбежно узнают, что я не причащался.

Но, поздравив меня, старуха спросила только об одном:

- Дьячку за теплоту – много ли дал?

- Пятачок, – наобум сказал я.

- И три копейки за глаза ему, а семишник себе оставил бы, чучело!

...Весна. Каждый день одет в новое, каждый новый день ярче и милей; хмельно пахнет молодыми травами, свежей зеленью берёз, нестерпимо тянет в поле слушать жаворонка, лёжа на тёплой земле вверх лицом. А я – чищу зимнее платье, помогаю укладывать его в сундук, крошу листовой табак, выбиваю пыль из мебели, с утра до ночи вожусь с неприятными, ненужными мне вещами.

В свободные часы мне совершенно нечем жить; на убогой нашей улице пусто, дальше – не позволено уходить; на дворе сердитые, усталые землекопы, растрёпанные кухарки и прачки, каждый вечер – собачьи свадьбы, – это противно мне и обижает до того, что хочется ослепнуть.

Я иду на чердак, взяв с собою ножницы и разноцветной бумаги, вырезаю из неё кружевные рисунки и украшаю ими стропила... Всё-таки пища моей тоске. Мне тревожно хочется идти куда-то, где меньше спят, меньше ссорятся, не так назойливо одолевают бога жалобами, не так часто обижают людей сердитым судом.

...В субботу на пасхе приносят в город из Оранского монастыря чудотворную икону Владимирской божией матери; она гостит в городе до половины июня и посещает все дома, все квартиры каждого церковного прихода.

К моим хозяевам она явилась в будни утром; я чистил в кухне медную посуду, когда молодая хозяйка пугливо закричала из комнаты:

– Отпирай парадную – Оранскую несут!

Я бросился вниз, грязный, с руками в сале и тёртом кирпиче, отпер дверь, – молодой монах с фонарём в одной руке и кадилом в другой тихонько проворчал:

– Дрыхнете? Помогай...

Двое обывателей вносили по узкой лестнице тяжёлый киот, я помогал им, поддерживая грязными руками и плечом край киота, сзади топали тяжёлые монахи, неохотно распевая густыми голосами:

– «Пресвятая богородице, моли бога о на-ас...»

Я подумал с печальной уверенностью:

«Обидится на меня она за то, что я, грязный, несу её, и отсохнут у меня руки...»

Икону поставили в передний угол на два стула, прикрытые чистой простынёй, по бокам киота встали, поддерживая его, два монаха, молодые и красивые, подобно ангелам – ясноглазые, радостные, с пышными волосами.

Служили молебен.

– «О, всепетая мати», – высоким голосом выводил большой поп и всё щупал багровыми пальцами припухшую мочку уха, спрятанного в пышных волосах.

– «Пресвятая богородице, помилуй на-ас», – устало пели монахи. Я любил богородицу; по рассказам бабушки, это она сеет на земле для утешения бедных людей все цветы, все радости – всё благое и прекрасное. И, когда нужно было приложиться к ручке её, не заметив, как прикладываются взрослые, я трепетно поцеловал икону в лицо, в губы.

Кто-то могучей рукой швырнул меня к порогу, в угол. Непамятно, как ушли монахи, унося икону, но очень помню: хозяева, окружив меня, сидевшего на полу, с великим страхом и заботою рассуждали – что же теперь будет со мной?

– Надо поговорить со священником, который поучёнее, – говорил хозяин и беззлобно ругал меня:

– Невежа, как же ты не понимаешь, что в губы нельзя целовать? А ещё... в школе учился...

Несколько дней я обречённо ждал – что же будет? Хватался за киот грязными руками, приложился незаконно, – уж не пройдёт мне даром это, не пройдёт!

Но, видимо, богородица простила невольный грех, вызванный искреннею любовью. Или же наказание её было так легко, что я не заметил его среди частых наказаний, испытанных мною от добрых людей.

Иногда, чтобы позлить старую хозяйку, я сокрушённо говорил ей:

– А богородица-то, видно, забыла наказать меня...

– А ты погоди, – ехидно обещала старуха. – Ещё поглядим...

...Украшая стропила чердака узорами из розовой чайной бумаги, листиками свинца, листьями деревьев и всякой всячиной, я распевал на церковные мотивы всё, что приходило в голову, как это делают калмыки в дороге:

Сижу я на чердаке,

С ножницами в руке.  
Режу бумагу, режу...  
Скушно мне, невеже!  
Был бы я собакой  
Бегал бы где хотел,  
А теперь орёт на меня всякой:  
Сиди да молчи, пострел,  
Молчи, пока цел!

Старуха, разглядывая мою работу, усмехалась, качала головой.

– Ты бы вот этак-то кухню украсил...

Однажды на чердак пришел хозяин, осмотрел содеянное мною, вздохнул и сказал:

– Забавен ты, Пешков, чёрт тебя возьми... Фокусник, что ли, выйдет из тебя? Не догадаешься даже...

Он дал мне большой николаевский пятак.

Я укрепил монету лапками из тонкой проволоки и повесил её, как медаль, на самом видном месте среди моих пёстрых работ.

Но через день монета исчезла, вместе с лапками, – я уверен, что это старуха стащила её!

## V

Весною я всё-таки убежал: пошёл утром в лавочку за хлебом к чаю, а лавочник, продолжая при мне ссору с женой, ударил её по лбу гирей; она выбежала на улицу и там упала; тотчас собрались люди, женщину посадили в пролётку, повезли её в больницу; я побежал за извозчиком, а потом, незаметно для себя, очутился на набережной Волги, с двугривенным в руке.

Ласково сиял весенний день, Волга разлилась широко, на земле было шумно, просторно, – а я жил до этого дня, точно мышонок в погребке. И я решил, что не вернусь к хозяевам и не пойду к бабушке в Кунавино, – я не сдержал слова, было стыдно видеть её, а дед стал бы злорадствовать надо мной.

Дня два-три я шлялся по набережной, питаюсь около добродушных крючников, ночуя с ними на пристанях; потом один из них сказал мне:

– Ты, мальчишка, зря треплешься тут, вижу я! Иди-ка на «Добрый», там посудника надо...

Я пошёл; высокий, бородатый буфетчик, в чёрной шёлковой шапочке без козырька, посмотрел на меня сквозь очки мутными глазами и тихо сказал:

– Два рубля в месяц. Паспорт.

Паспорта у меня не было, буфетчик подумал и предложил:

– Мать приведи.

Я бросился к бабушке, она отнеслась к моему поступку одобрительно, уговорила деда сходить в ремесленную управу за паспортом для меня, а сама пошла со мною на пароход.

– Хорошо, – сказал буфетчик, взглянув на нас. – Идём.

Привёл меня на корму парохода, где за столиком сидел, распивая чай и одновременно куря толстую папиросу, огромный повар в белой куртке, в белом колпаке. Буфетчик толкнул меня к нему.

– Посудник.

И тотчас пошёл прочь, а повар, фыркнув, ошетилил чёрные усы и сказал вслед ему:

– Нанимаете всякого беса, або дешевле...

Сердито вскинул большую голову в чёрных, коротко остриженных волосах, вытаращил тёмные глаза, напрягся, надулся и закричал зычно:

– Кто ты такой?

Мне очень не понравился этот человек, – весь в белом, он всё-таки казался чумазым, на пальцах у него росла шерсть, из больших ушей торчали волосы.

– Я хочу есть, – сказал я ему.

Он мигнул, и вдруг его свирепое лицо изменилось от широкой улыбки, толстые, калёные щёки волною отошли к ушам, открыв большие лошадиные зубы, усы мягко опустились – он стал похож на толстую, добрую бабу.

Выплеснув за борт чай из своего стакана, налил свежего, подвинул мне непочатую французскую булку, большой кусок колбасы.

– Лопай! Отец-мать есть? Воровать умеешь? Ну, не бойся, здесь все воры – научат!

Говорил он, точно лаял. Его огромное, досиня выбритое лицо было покрыто около носа сплошной сетью красных жилок, пухлый багровый нос опускался на усы, нижняя губа тяжело и брезгливо отвисла, в углу рта приклеилась, дымясь, папироса. Он, видимо, только что пришёл из бани – от него пахло берёзовым веником и перцовкой, на висках и на шее блестел обильный пот.

Когда я напился чаю, он сунул мне рублёвую бумажку.

– Ступай, купи себе два фартука с нагрудниками. Стой, – я сам куплю!

Поправил колпак и пошёл, тяжело покачиваясь, шупая ногами палубу, точно медведь.

...Ночь, ярко светит луна, убегая от парохода влево, в луга. Старенький рыжий пароход, с белой полосой на трубе не торопясь и неровно шлёпает плицами по серебряной воде, навстречу ему тихонько плывут тёмные берега, положив на воду тени, над ними красно светятся окна изб, в селе поют, – девки водят хоровод, и припев «ай-люли» звучит, как аллилуйя...

За пароходом на длинном буксире тянется баржа, тоже рыжая; она прикрыта по палубе железной клеткой, в клетке – арестанты, осуждённые на поселение и в каторгу. На носу баржи, как свеча, блестит штык часового; мелкие звёзды в синем небе тоже горят, как свечи. На барже тихо, её богато облил лунный свет, за чёрной сеткой железной решётки смутно видны круглые серые пятна, – это арестанты смотрят на Волгу. Всхлипывает вода, не то плачет, не то смеётся робко. Всё вокруг какое-то церковное, и маслом пахнет так же крепко, как в церкви.

Смотрю на баржу и вспоминаю раннее детство, путь из Астрахани в Нижний, железное лицо матери и бабушку – человека, который ввёл меня в эту интересную, хотя и трудную жизнь – в люди. А когда я вспоминаю бабушку, всё дурное, обидное уходит от меня, изменяется, всё становится интереснее, приятнее, люди – лучше и милей...

Меня почти до слёз волнует красота ночи, волнует эта баржа – она похожа на гроб и такая лишняя на просторе широко разлившейся реки, в задумчивой тишине тёплой ночи. Неровная линия берега, то поднимаясь, то опускаясь, приятно тревожит сердце, – мне хочется быть добрым, нужным для людей.

Люди на пароходе нашем – особенные, все они – старые и молодые, мужчины и женщины – кажутся мне одинаковыми. Наш пароход идет медленно, деловые люди садятся на почтовые, а к нам собираются всё какие-то тихие бездельники. С утра до вечера они пьют, едят и пачкают множество посуды, ножей, вилок, ложек; моя работа – мыть посуду, чистить вилки и ножи, я занимаюсь этим с шести часов утра и почти вплоть до полуночи. Днём, между двумя и шестью часами, и вечером от десяти до полуночи, работы у меня меньше, – пассажиры, отдыхая от еды, только пьют чай, пиво, водку. В эти часы свободна вся буфетная прислуга – моё начальство. За столом около отвода пьют чай повар Смурый, его помощник Яков Иваныч, кухонный посудник Максим и официант для палубных пассажиров Сергей, горбун, со скуластым лицом, изрытым оспой, с масляными глазами. Яков Иваныч рассказывает разные мерзости, посмеиваясь рыдающим смешком, показывая зелёные, гнилые зубы. Сергей растягивает до ушей свой лягушечий рот, хмурый Максим молчит, глядя на них строгими глазами неувливаемого цвета.

– Аз-зиаты! Мор-рдва! – изредка гулким голосом произносит старший повар.

Эти люди не нравятся мне. Толстый, лысенький Яков Иваныч говорит только о женщинах и всегда – грязно. Лицо у него пустое, в сизых пятнах, на одной щеке бородавка с кустиком рыжих волос, он их закручивает в иголку. Когда на пароход является податливая, разбитная пассажирка, он ходит около неё как-то особенно робко и пугливо, точно нищий, говорит с нею слащаво и жалобно, на губах у него появляется мыльная пена, он то и дело слизывает её быстрым движением поганого языка. Мне почему-то кажется, что вот такими жирненькими должны быть палачи.

– Бабу надо уметь накалить, – учит он Сергея и Максима; они слушают его внимательно и надуваются, краснеют.

– Азиаты, – брезгливо бухает Смурый, тяжело встаёт и командует мне: Пешко-в – марш!

В каюте у себя он суёт мне книжку в кожаном переплёте и ложится на койку, у стены ледника.

– Читай!

Я сажусь на ящик макарон и добросовестно читаю:

– «Умбакул, распещрённый звёздами, значит удобное сообщение с небом, которое имеют они освобождением себя от профанов и пороков».

Смурый, закулив папироску, фыркает дымом и ворчит:

– Верблюды! Написали...

- «Оголение левой груди означает невинность сердца».
- У кого – оголение?
- Не сказано.
- То значит – у баб... Э, распутники.

Он закрывает глаза и лежит, закинув руки за голову, папироса чуть дымится, прилепившись к углу губ, он поправляет её языком, затягивается так, что в груди у него что-то свистит, и огромное лицо тонет в облаке дыма. Иногда мне кажется, что он уснул, я перестаю читать и разглядываю проклятую книгу – надоела она мне до тошноты.

Но он хрипит:

- Читай!
  - «Венерабль отвечает: посмотри, любезный мой фрер Сюверьян»...
  - Северьян...
  - Напечатано – Сюверьян...
  - Ну? Вот чертовщина! Там в конце стихами написано, катай оттуда...
- Я катаю:

Профаны, любопытствующие знать наши дела  
Никогда слабые ваши очи не узрят оных.  
Вы и того не узнаете, как поют фреры.

- Стой, – говорит Смурый, – да это ж не стихи! Дай книгу...
- Он сердито перелистывает толстые, синие страницы и суёт книгу под тюфяк.
- Возьми другую...

На моё горе у него в чёрном сундуке, окованном железом, много книг тут: «Омировы наставления», «Мемории артиллерийские», «Письма лорда Седенгали», «О клопе насекомом зловредном, а также об уничтожении оногo, с приложением советов против сопутствующих ему»; были книги без начала и конца. Иногда повар заставлял меня перебирать эти книги, называть все титулы их, – я читал, а он сердито ворчал:

– Сочиняют, ракалии. Как по зубам бьют, а за что – нельзя понять. Гервасий! А на чорта он мне сдался, Гервасий этот! Умбакул...

Странные слова, незнакомые имена надоедливо запоминались, щекотали язык, хотелось ежеминутно повторять их – может быть, в звуках откроется смысл? А за окном неустанно пела и плескала вода. Хорошо бы уйти на корму там, среди ящиков товара, собираются матросы, кочегары, обыгрывают пассажиров в карты, поют песни, рассказывают интересные истории. Хорошо сидеть с ними и, слушая простое, понятное, смотреть на берега Камы, на сосны, вытянутые, как медные струны, на луга, где от половодья остались маленькие озёра и лежат, как куски разбитого зеркала, отражая синее небо. Наш пароход отъединён от земли, убегает прочь от неё, а с берега, в тишине уставшего дня, доносится звон невидимой колокольни, напоминая о сёлах, о людях. На волне качается лодка рыбака, похожая на краюху хлеба; вот на берегу явилась деревенька, куча мальчишек полощется в реке, по жёлтой ленте песка идёт мужик в красной рубахе. Издали, с реки, всё кажется приятным, всё – точно игрушечное, забавно мелко и пёстро. Хочется крикнуть на берег какие-то ласковые, добрые слова, – на берег и на баржу.

Эта рыжая баржа очень занимала меня, я целый час мог, не отрываясь, смотреть, как она роет тупым носом мутную воду. Пароход тащил её, точно свинью; ослабевая, буксир хлестал по воде, потом снова натягивался, роняя обильные капли, и дёргал баржу за нос. Мне очень хотелось видеть лица людей, зверьями сидевших в железной клетке. В Перми, когда их сводили на берег, я пробирался по сходням баржи; мимо меня шли десятки серых человечков, гулко топя ногами, звякая кольцами кандалов, согнувшись под тяжестью котомок; шли женщины и мужчины, старые и молодые, красивые и уродливые, но совсем такие же, как все люди, только

иначе одетые и обезображенные бритъём. Конечно, это – разбойники, но бабушка так много говорила хорошего о разбойниках.

Смурый, более других похожий на свирепого разбойника, угрюмо поглядывая на баржу, ворчал:

– Избави боже такой судьбины!

Как-то раз я спросил его:

– Почему это – вы стряпаете, а другие убивают, грабят?

– Я не стряпаю, а готовлю, стряпают – бабы, – сказал он, усмехаясь; подумав, прибавил: – Разница меж людьми – в глупости. Один умнее, другой меньше, третий – совсем дурак. А чтобы поумнеть, надо читать правильные книги, чёрную магию и – что там ещё? Все книги надо читать, тогда найдешь правильные...

Он постоянно внушал мне:

– Ты – читай! Не поймёшь книгу – семь раз прочитай, семь не поймёшь прочитай двадцать...

Со всеми на пароходе, не исключая и молчаливого буфетчика, Смурый говорил отрывисто, брезгливо распуская нижнюю губу, ошетилив усы, – точно камнями швырял в людей. Ко мне он относился мягко и внимательно, но в этом внимании было что-то пугавшее меня немножко; иногда повар казался мне полоумным, как сестра бабушки.

Иногда он говорил мне:

– Подожди читать...

И долго лежит, закрыв глаза, посапывая носом; колышется его большой живот, шевелятся сложенные на груди, точно у покойника, обожжённые, волосатые пальцы рук, – вяжут невидимыми спицами невидимый чулок.

И вдруг начнёт ворчать:

– Да. Вот тебе – разум, иди и живи! А разума скупое дано и не ровно. Коли бы все были одинаково разумны, а то – нет... Один понимает, другой не понимает, и есть такие, что вовсе уж не хотят понять, на!

Спотыкаясь на словах, он рассказывал истории из своей солдатской жизни, – смысла этих историй я не мог уловить, они казались мне неинтересными, да и рассказывал он не с начала, а что на память приходило.

– Призывает того солдата полковой командир, спрашивает: «Что тебе говорил поручик?» Так он отвечает всё, как было, – солдат обязан отвечать правду. А поручик посмотрел на него, как на стену, и отвернулся, опустил голову. Да...

Повар сердится, дышит дымом и ворчит:

– Разве же я знаю, что можно говорить, чего нельзя? Тогда поручика засудили в крепость, а матушка его говорит... а, боже мой! Я же не учёный ничему...

Жарко. Всё вокруг тихонько трясётся, гудит, за железной стенкой каюты плещет водой и бухает колесо парохода, мимо иллюминатора широкой полосой течёт река, вдали видна полоска лугового берега, маячат деревья. Слух привык ко всем звукам, – кажется, что вокруг тихо, хотя на носу парохода матрос заунывно воет:

– Се-емь, се-емь...

Не хочется принимать участия ни в чём, не хочется слушать, работать, только бы сидеть где-либо в тени, где нет жирного, горячего запаха кухни, сидеть и смотреть полусонно, как скользит по воде эта тихонькая, уставшая жизнь.

– Читай! – сердито приказывает повар.

Его боятся даже классные официанты, да и смиренный, скупой на слова буфетчик, похожий на судака, тоже, видимо, боится Смурого.

– Эй ты, свинья! – кричит он на буфетную прислугу. – Поди сюда, вор! Азиаты... Умбракул...

Матросы и кочегары относятся к нему почтительно, заискивающе, – он давал им вываренное бульонное мясо, расспрашивал о деревне, о семьях. Масленные и копчёные кочегары-белоруссы считались на пароходе низшими людьми, их звали одним именем – ягуты, и дразнили:

– Ягу, бягу, на берягу...

Когда Смурый слышал это, он, ощетинаясь, налившись кровью, орал кочегару:

– Ты что позволяешь смеяться над собой, лыковая харя? Бей кацапа в морду!

Как-то раз боцман, красивый и злой мужик, сказал ему:

– Ягут да хохол – одна вера!

Повар схватил его за шиворот, за пояс, поднял на воздух и начал трясти, спрашивая:

– Хочешь – расшибу?

Ссорились часто, иногда до драки, но Смурого не били, – он обладал нечеловечьей силой, а кроме этого, с ним часто и ласково беседовала жена капитана, высокая, дородная женщина с мужским лицом и гладко, как у мальчика, остриженными волосами.

Он жестоко пил водку, но никогда не пьянел. Начиная пить с утра, выпивая бутылку в четыре приёма, и вплоть до вечера сосал пиво. Лицо у него постепенно бурело, тёмные глаза изумлённо расширились.

Бывало, вечером, сядет он на отводе, огромный, белый, и часами сидит молча, хмуро глядя в текучую даль. В этот час все особенно боялись его, а я – жалел.

Выходил из кухни Яков Иваныч, потный, раскалённый; стоял, почёсывая голый череп, и, махнув рукою, скрывался или говорил издали:

– Стерлядь уснула...

– Ну, в солянку...

– А если уху закажут или паровую?

– Готовь. Сожрут.

Иногда я решался подойти к нему, он тяжело передвигал глаза на меня.

– Что?

– Ничего...

– Добре...

Я всё-таки спросил его в один из таких часов:

– Зачем вы пугаете всех, ведь вы – добрый?

Против ожидания, он не рассердился.

– Это я только к тебе добрый.

Но тотчас же добавил, простодушно и задумчиво:

– А пожалуй, верно, я ко всем добрый. Только не показываю этого, нельзя это показывать людям, а то они замордуют. На доброго всякий лезет, как бы на кочку в болоте... И затопчут. Иди, принеси пива...

Выпив бутылку, стакан за стаканом, он обсосал усы и сказал:

– Будь ты, птица, побольше, то я бы многому тебя научил. Мне есть что сказать человеку, я не дурак... Ты читай книги, в них должно быть всё, что надо. Это не пустяки, книги! Хочешь пива?

– Я не люблю.

– Добре. И не пей. Пьянство – это горе. Водка – чортово дело. Будь я богатый, погнал бы я тебя учиться. Неучёный человек – бык, его хоть в ярмо, хоть на мясо, а он только хвостом мотае...

Капитанша дала ему том Гоголя, я прочитал «Страшную месть», мне это очень понравилось, но Смурый сердито крикнул:

– Ерунда, сказка! Я знаю – есть другие книги...

Отнял у меня книгу, принёс от капитанши другую и угрюмо приказал:

– Читай Тараса... как его? Найди. Она говорит – хорошо... Кому хорошо? Ей хорошо, а мне, може, и нехорошо? Волосы остригла себе, на! А что ж уши не остригла?

Когда Тарас вызвал Остапа драться, повар густо засмеялся.

– Это – так! А что ж! Ты – учён, а я – силён! Что печатают! Верблюды...

Он слушал внимательно, но часто ворчал:

– А, ерунда! Нельзя же человека разрубить с плеча до сиденья, нельзя! И на пику нельзя поднять – переломится пика! Я ж сам солдат...

Измена Андрия вызвала у него отвращение.

– Подлое чадо, а? Из-за бабы! Тьфу...

Но когда Тарас пристрелил сына, повар, спустив ноги с койки, упёрся в неё руками, согнулся и заплакал, – медленно потекли по щекам слёзы, капая на палубу; он сопел и бормотал:

– А, боже мой... боже мой...

И вдруг заорал на меня:

– Да читай же, чёртова кость!

Он снова заплакал и – ещё сильнее и горше, когда Остап перед смертью крикнул: «Батько! Слышишь ли ты?»

– Всё погубло, – всхлипывал Смурый, – всё, а! Уже – конец? Эх, проклятое дело! А были люди, Тарас этот – а? Да-а, это – люди...

Взял у меня из рук книгу и внимательно рассмотрел её, окапав переплёт слезами.

– Хорошая книга! Просто – праздник!

Потом мы читали «Ивангё», – Смурому очень понравился Ричард Плантагенет.

– Это настоящий король! – внушительно говорил он. Мне книга показалась скучной.

Вообще мы не сходились во вкусах, – меня очень увлекала «Повесть о Томасе Ионесе» – старинный перевод «Истории Тома Джонса, найдёныша», а Смурый ворчал:

– Хлупость! Что мне до него, до Томаса? На что он мне сдался? Должны быть иные книги...

Однажды я сказал ему, что мне известно – есть другие книги, подпольные, запрещённые; их можно читать только ночью, в подвалах.

Он вытаращил глаза, ощетинился.

– Ш-шо такое? Шо ты врешь?

– Я не вру, меня про них поп на исповеди спрашивал, а до того я сам видел, как их читают и плачут...

Повар, угрюмо глядя в лицо мне, спросил:

– Кто плачет?

– Барыня, которая слушала. А другая убежала даже со страху...

– Проснись, бредишь, – сказал Смурый, медленно прикрывая глаза, а помолчав, забормотал:

– Конечно, где-нибудь есть... что-нибудь скрытое. Не быть его – не может... Не таковы мои годы, да и характер мой тож... Ну, а однако ж...

Он мог говорить столь красноречиво целый час...

Незаметно для себя я привык читать и брал книгу с удовольствием; то, о чём рассказывали книги, приятно отличалось от жизни, – она становилась всё тяжелее.

Смурый, тоже увлекаясь чтением всё больше, часто отрывал меня от работы.

– Пешков, иди читать.

– У меня немытой посуды много.

– Максим вымоет.

Он грубо гнал старшего посудника на мою работу, тот со зла бил стаканы, а буфетчик смиренно предупреждал меня:

– Ссажу с парохода.

Однажды Максим нарочно положил в таз с грязной водой и спитым чаем несколько стаканов, а я выплеснул воду за борт, и стаканы полетели туда же.

– Это моя вина! – сказал Смурый буфетчику. – Запишите мне.

Буфетная прислуга стала смотреть на меня исподлобья, мне говорили:

– Эй ты, книгочей! Ты за что деньги получаешь?

И старались дать мне работы возможно больше, зря пачкая посуду. Я понимал, что всё это плохо кончится для меня, и не ошибся.

Под вечер с какой-то маленькой пристани к нам на пароход села краснорожая баба с девицей в жёлтом платке и розовой новой кофте. Обе они были выпивши, – баба улыбалась, кланялась всем и говорила на о, точно дьякон:

– Простите, родные, выпила я немножко! Судили меня, оправдали, вот я на радостях и выпила...

Девушка тоже смеялась, глядя на людей мутными глазами, и толкала бабу:

– А ты иди, чумовая, иди знай...

Они поместились около рубки второго класса, против каюты, где спали Яков Иванович и Сергей. Баба скоро куда-то исчезла, а к девушке подсел Сергей, жадно растягивая лягушечий рот.

Ночью, когда я, кончив работу, ложился спать на столе, Сергей пришёл ко мне и схватил меня за руку.

– Иди, мы тебя женим...

Он был пьян. Я попытался вырвать руку, но он ударил меня.

– Иди-и!

Подбежал Максим, тоже пьяный, и вдвоём они потащили меня по палубе к своей каюте, мимо спящих пассажиров. Но у дверей каюты стоял Смурый, в двери, держась за косяки, – Яков Иваныч, а девица колотила его по спине кулаками, пьяным голосом кричала:

– Пуститя...

Смурый выдернул меня из рук Сергея и Максима, схватил их за волосы и, стукнув головами, отшвырнул, – они оба упали.

– Азиат! – сказал он Якову, захлопнув дверь на нос ему, и загудел, толкая меня:

– Ступай прочь!

Я убежал на корму. Ночь была облачная, река – чёрная; за кормою кипели две серые дорожки, расходясь к невидимым берегам; между этих дорожек тащилась баржа. То справа, то слева являются красные пятна огней и, ничего не осветив, исчезают за неожиданным поворотом берега; после них становится ещё более темно и обидно.

Пришёл повар, сел рядом со мною, вздохнул тяжело и закурил папиросу.

– Они тебя к этой тащили? Эт, поганцы! Я же слышал, как они посягали...

– Вы отняли её у них?

– Её? – Он грубо обругал девицу и продолжал тяжёлым голосом: – Тут все гады. Пароходишко этот – хуже деревни. В деревне жил?

– Нет.

– Деревня – насквозь беда! Особенно зимой...

Бросив окурок за борт, он помолчал и заговорил снова:

– Пропадёшь ты в свином стаде, жалко мне тебя, кутёнок. И всех жалко. Иной раз не знаю, что сделал бы... даже на колени бы встал и спросил: «Что же вы делаете, сукины сыны, а? Что вы, слепые?» Верблюды...

Пароход протяжно загудел, буксир шлёпнулся в воду; в густой темноте закачался огонь фонаря, указывая, где пристань, из тьмы спускались ещё огни.

– Пьяный Бор, – ворчал повар. – И река есть – Пьяная. Был каптенармус – Пьянков... И писарь Запивохин... Пойду на берег...

Крупные камские бабы и девки таскали с берега дрова на длинных носилках. Изгибаясь под ляжками, упруго пританцовывая, пара за парой они шли к трюму кочегарни и сбрасывали полсажени поленьев в чёрную яму, звонко выкрикивая:

– Трушша!

Когда они шли с дровами, матросы хватили их за груди, за ноги, бабы визжали, плевали на мужиков; возвращаясь назад, они оборонялись от щипков и толчков ударами носилок. Я видел это десятки раз – каждый рейс: на всех пристанях, где грузили дрова, было то же самое.

Мне казалось, что я – старый, живу на этом пароходе много лет и знаю всё, что может случиться на нём завтра, через неделю, осенью, в будущем году.

Уже светало. На песчаном обрыве выше пристани обозначился мощный сосновый лес. В гору, к лесу, шли бабы, смеялись и пели, подвывая; вооружённые длинными носилками, они были похожи на солдат.

Хотелось плакать, слёзы кипели в груди, сердце точно варилось в них; это было больно.

Но плакать – стыдно, и я стал помогать матросу Бляхину мыть палубу.

Это был незаметный человек, Бляхин. Весь какой-то линючий, блёклый, он всё прятался по углам, поблёскивая оттуда маленькими глазками.

– По-настоящему прозвище мне не Бляхин, а... Потому, видишь ты, – мать у меня была распутной жизни. Сестра есть, так и сестра тоже. Такая, стало быть, назначена судьба обеим им. Судьба, братаня, всем нам – якорь. Ты б пошёл, ан – погоди...

И теперь, шаркая шваброй по палубе, он говорил мне тихонько:

– Видал, как бабов забижают! То-то вот! И сырое полено долго поджигать – загорится! Не люблю я этого, братаня, не уважаю. И родись я бабой утопился бы в чёрном омуте, вот тебе Христос святой порукой!.. И так воли нет никому, а тут ещё – зажигают! Скопцы-то, я те скажу, не дурак народ. Про скопцов – слышал? Умный народ, очень правильно догадался: напрочь все мелкие вещи, да и служи богу, чисто...

Мимо нас прошла по лужам капитанша, высоко подбирая юбки; она всегда вставала рано. Высокая, стройная, и такое простое, ясное лицо у неё... Захотелось побежать за нею и просить всей душой:

«Скажите мне что-нибудь, скажите!..»

Пароход медленно отвалил от пристани, а Бляхин сказал, крестясь:

– Поехали...

## VI

В Сарапуле Максим ушёл с парохода, – ушёл молча, ни с кем не простясь, серьёзный и спокойный. За ним, усмехаясь, сошла весёлая баба, а за нею девица, измятая, с опухшими глазами. Сергей же долго стоял на коленях перед каютой капитана, целовал филёнку двери, стучался в неё лбом и взывал:

– Простите меня, я не виноват! Это – Максимка...

Матросы, буфетная прислуга, даже некоторые пассажиры знали, что он врёт, но поощрительно советовали:

– Валяй, валяй – простит!

Капитан гнал его прочь, даже толкнул ногой, так что Сергей опрокинулся, но всё-таки простил. И Сергей тотчас же забегал по палубе, разнося подносы с посудой для чая, по-собачьи искательно заглядывая людям в глаза.

На место Максима взяли с берега вятского солдатика, костлявого, с маленькой головкой и рыжими глазами. Помощник повара тотчас послал его резать кур; солдатик зарезал пару, а остальных распустил по палубе; пассажиры начали ловить их, – три курицы перелетели за борт. Тогда солдатик сел на дрова около кухни и горько заплакал.

– Ты что, дурак? – изумлённо спросил его Смурый. – Разве солдаты плачут?

– Я – нестроевой роты, – тихонько сказал солдат. Это погубило его, через полчаса все люди на пароходе хохотали над ним; подойдут вплоть к нему, уставятся глазами прямо в лицо, спросят:

– Этот?

И затрясутся в судорогах обидного, нелепого смеха. Солдат сначала не видел людей, не слышал смеха; собирая слёзы с лица рукавом ситцевой старенькой рубахи, он словно прятал их в рукав. Но скоро его рыжие глазки гневно разгорелись, и он заговорил вятской сорочьей скороговоркой:

– Што вылупили шары-то на меня? Ой, да чтобы вас рёзорвало на кусочки...

Это ещё более развеселило публику, солдата начали тыкать пальцами, дёргать за рубаху, за фартук, играя с ним, точно с козлом, и так травили его до обеда, а пообедав, кто-то надел на ручку деревянной ложки кусок выжатого лимона и привязал за спиной солдата к тесёмкам его фартука; солдат идёт, ложка болтается сзади него, все хохочут, а он – суетится, как пойманный мышонок, не понимая, что вызывает смех.

Смурый следит за ним молча, серьёзно, лицо у повара сделалось бабьим.

Мне стало жалко солдата, я спросил повара:

– Можно сказать ему про ложку?

Он молча кивнул головой.

Когда я объяснил солдату, над чем смеются, он быстро нащупал ложку, оторвал её, бросил на пол, раздавил ногой и – вцепился в мои волосы обеими руками; мы начали драться, к великому удовольствию публики, тотчас окружившей нас.

Смурый расшвырял зрителей, рознял нас и, натрепав уши сначала мне, схватил за ухо солдата. Когда публика увидела, как этот маленький человек трясёт головой и танцует под рукою повара, она неистово заорала, засвистала, затопала ногами, раскалываясь от хохота.

– Ура, гарнизон! Дай повару головой в брюхо!

Эта дикая радость стада людей возбуждала у меня желание броситься на них и колотить по грязным башкам поленом.

Смурый выпустил солдата и, спрятав руки за спину, пошёл на публику кабаном, оцетившись, страшно оскалив зубы.

– По местам – марш! Аз-зиаты...

Солдат снова бросился на меня, но Смурый одной рукой схватил его в охапку, снёс на отвод и начал качать воду, поливая голову солдата, повёртывая его тщедушное тело, точно куклу из тряпок.

Прибежали матросы, боцман, помощник капитана, снова собралась толпа людей; на голову выше всех стоял буфетчик, тихий и немой, как всегда.

Солдат, присев на дрова около кухни, дрожащими руками снял сапоги и начал отжимать онучи, но они были сухи, а с его жиденьких волос капала вода, – это снова рассмешило публику.

– Всё едино, – сказал солдат тонко и высоко, – убью мальчишку!

Придерживая меня за плечо, Смурый что-то говорил помощнику капитана, матросы разгоняли публику, и, когда все разошлись, повар спросил солдата:

– Что же с тобой делать?

Тот промолчал, глядя на меня дикими глазами и весь странно дергаясь.

– Смир-рно, кликуша! – сказал Смурый.

Солдат ответил:

– Дудочки, это тебе не в роте.

Я видел, что повар сконфузился, его надутые щёки дрябло опустились, он плюнул и пошёл прочь, уводя меня с собою; ошалевший, я шагал за ним и всё оглядывался на солдата, а Смурый недоуменно бормотал:

– Эт, цаца какая, а? Извольте вам...

Нас догнал Сергей и почему-то шопотом сказал:

– Он зарезаться хочет!

– Где? – рявкнул Смурый и побежал.

Солдат стоял в двери каюты для прислуги, с большим ножом в руках, этим ножом отрубали головы курам, кололи дрова на растопку, он был тупой и выщерблен, как пила. Перед каютой стояла публика, разглядывая маленького смешного человечка с мокрой головой; курносое лицо его дрожало, как студень, рот устало открылся, губы прыгали. Он мычал:

– Мучители... му-учители...

Вскочив на что-то, я смотрел через головы людей в их лица – люди улыбались, хихикали, говорили друг другу:

– Гляди, гляди...

Когда он стал сухонькой детской ручкой заправлять в штаны выбившуюся рубаху, благообразный мужчина рядом со мною сказал, вздохнув:

– Умирать собрался, а штаны поправляет...

Публика смеялась громче. Было ясно: никто не верит, что солдат может зарезаться, – не верил и я, а Смурый, мельком взглянув на него, стал толкать людей своим животом, приговаривая:

– Пошёл прочь, дурак!

Он называл дураком многих сразу, – подойдёт к целой кучке людей и кричит на них:

– По местам, дурак!

Это было тоже смешно, однако казалось верным: сегодня с утра все люди – один большой дурак.

Разогнав публику, он подошёл к солдату, протянул руку.

– Дай сюда нож...

– Всё едино, – сказал солдат, протягивая нож острием; повар сунул нож мне и толкнул солдата в каюту.

– Ляг и спи! Ты что такое, а?

Солдат молча сел на койку.

– Он тебе есть принесет и водки, – пьёшь водку?

– Немножко пью...

– Ты смотри, не трогай его – это не он посмеялся над тобой, слышишь? Я говорю – не он...

– А зачем меня мучили? – тихонько спросил солдат.

Смурый не сразу и угрюмо отозвался:

– Ну, а я знаю?

Идя со мною в кухню, он бормотал:

– Н-на... действительно, привязались к убогому! Видишь – как? То-то! Люди, брат, могут с ума свести, могут... Привяжутся, как клопы, и – шабаш! Даже куда там – клопы! Злее клопов...

Когда я принёс солдату хлеба, мяса и водки, он сидел на койке, покачивался взад и вперед и плакал тихонько всхлипывая, как баба. Поставив тарелку на столик, я сказал:

– Ешь...

– Затвори дверь.

– Темно будет.

– Затвори, а то они опять прилезут...

Я ушёл. Солдат был неприятен мне, он не возбуждал сострадания и жалости у меня. Это было неловко, – бабушка многократно поучала меня:

«Людей надо жалеть, все несчастны, всем трудно...»

– Отнёс? – спросил меня повар. – Ну, что он там?

– Плачет...

– Эт... мешок! Какой он солдат?

– Мне его жалко.

– Ну? Что такое?

– Людей – надо жалеть...

Смурый взял меня за руку, подтянул к себе и внушительно сказал:

– Насильно не пожалеешь, а врать не годится, – понял? Ты не привыкай кисели разводить, знай сам себя...

И, оттолкнув, прибавил угрюмо:

– Не место тебе здесь! На, покури...

Я был глубоко взволнован, весь измят поведением пассажиров, чувствуя нечто невыразимо оскорбительное и подавляющее в том, как они травили солдата, как радостно хохотали, когда Смурый трепал его за ухо. Как могло нравиться им всё это противное, жалкое, что тут смешило их столь радостно?

Вот они снова расселись, разлеглись под низким тентом, – пьют, жуют, играют в карты, мирно и солидно беседуя, смотрят на реку, точно это не они свистели и улюлюкали час тому назад. Все они такие же тихие, ленивые, как всегда; с утра до вечера они медленно толкуются на пароходе, как мошки или пылинки в лучах солнца. Вот десяток людей, толкаясь у сходен и крестясь, уходит с парохода на пристань, а с пристани прямо на них лезут ещё такие же люди, так же согнули спины под тяжестью котомок и сундуков, так же одеты...

Эта постоянная смена людей ничего не изменяет в жизни парохода, новые пассажиры будут говорить о том же, о чём говорили ушедшие: о земле, о работе, о боге, о бабах, и теми же словами.

– Положено господом богом терпеть, и – терпи, человек! Ничего не поделаешь, такая наша судьба...

Эти слова скучно слушать, и они раздражают: я не терплю грязи, я не хочу терпеть злое, несправедливое, обидное отношение ко мне; я твердо знаю, чувствую, что не заслужил такого отношения. И солдат не заслужил. Может быть – он сам хочет быть смешным...

Прогнали с парохода Максима – это был серьёзный, добрый парень, а Сергея, человека подлого, оставили. Всё это – не так. А почему эти люди, способные затравить человека, довести

его почти до безумия, всегда покорно подчиняются сердитым окрикам матросов, безобидно выслушивают ругательства?

– Чего навалились на борт? – кричит боцман, прищутив красивые, но злые глаза. – Пароход накренили, разойдись, черти драповые...

Черти смиренно переваливаются на другой борт, а оттуда их снова гонят, как баранов.

– А, окаянные...

Жаркими ночами, под раскалённым за день железным тентом, – душно; пассажиры тараканами расползаются по всей палубе, ложатся где попало; перед пристанью матросы будят их пинками.

– Эй, чего растянулись на дороге! Пошли прочь, на места...

Они встают и сонно двигаются туда, куда их толкают.

Матросы такие же, как они, только иначе одеты, но командуют ими, как полицейские.

Тихое, робкое и грустно-покорное заметно в людях прежде всего, и так странно, страшно, когда сквозь эту кору покорности вдруг прорвётся жестокое, бессмысленное и почти всегда невесёлое озорство. Мне кажется, что люди не знают, куда их везут, им всё равно, где их высадят с парохода. Где бы они ни сошли на берег, посидев на нём недолго, они снова придут на этот или другой пароход, снова куда-то поедут. Все они какие-то заплутавшиеся, безродные, вся земля чужая для них. И все они до безумия трусливы.

Однажды за полночь что-то лопнуло в машине, выстрелив, как из пушки. Палуба сразу заволокла белым облаком пара, он густо поднимался из машинного трюма, курился во всех щелях; кто-то невидимый кричал оглушительно:

– Гаврило, сурик, войлок...

Я спал около машинного трюма, на столе, на котором мыл посуду, и когда проснулся от выстрела и сотрясения, на палубе было тихо, в машине горячо шипел пар, часто стучали молотки. Но через минуту все палубные пассажиры разногласно завывали, заорали, и сразу стало жутко.

В белом тумане – он быстро редел – метались, сшибая друг друга с ног, простоволосые бабы, встрёпанные мужики с круглыми рыбьими глазами, все тащили куда-то узлы, мешки, сундуки, спотыкаясь и падая, призывая бога, Николу Угодника, били друг друга; это было очень страшно, но в то же время интересно; я бегал за людьми и всё смотрел – что они делают?

Первый раз я видел ночную тревогу и как-то сразу понял, что люди делали её по ошибке: пароход шёл не замедляя движения, за правым бортом, очень близко, горели костры косарей, ночь была светлая, высоко стояла полная луна.

А люди носились по палубе всё быстрее, выскочили классные пассажиры, кто-то прыгнул за борт, за ним – другой, и ещё; двое мужиков и монах отбивали поленьями скамью, привинченную к палубе; с кормы бросили в воду большую клетку с курами; среди палубы, около лестницы на капитанский мостик, стоял на коленях мужик и, кланяясь бежавшим мимо него, был волком:

– Православные, грешен...

– Лодку, дьяволы! – кричал толстый барин, в одних брюках, без рубашки, и бил себя в грудь кулаком.

Бегали матросы, хватая людей за шиворот, колотили их по головам, бросали на палубу. Тяжело ходил Смурый, в пальто, надетом на ночное бельё, и гулким голосом уговаривал всех:

– Да постыдитесь! Чего вы, рехнулись? Пароход же стоит, встал, ну! Вот – берег! Дураков, что попрыгали в воду, косари переловили, повытаскивали, вон они, – видите две лодки?

А людей третьего класса он бил кулаками по головам, сверху вниз, и они мешками, молча, валились на палубу.

Ещё суматоха не утихла, как на Смурого налетела дама в тальме, со столовой ложкой в руке, и, размахивая ложкой под носом у него, закричала:

– Как ты смеешь?

Мокрый господин, удерживая её, обсасывал усы и с досадой говорил:

– Оставь его, болвана...

Смурый, разводя руками, сконфуженно мигал и спрашивал меня:

– Что такое, а? За что она меня? Здравствуйте! Да я же её в первый раз вижу!..

А какой-то мужичок, сморкаясь кровью, вскрикивал:

– Ну, люди! Ну, разбойники!..

За лето я дважды видел панику на пароходе, и оба раза она была вызвана не прямой опасностью, а страхом перед возможностью её. Третий раз пассажиры поймали двух воров, – один из них был одет странником, – били их почти целый час потихоньку от матросов, а когда матросы отняли воров, публика стала ругать их:

– Вор вора кроет, известно!

– Сами вы жульё, вот и мирволите жуликам...

Жулики были забиты до бесчувствия, они не могли стоять на ногах, когда их сдавали полиции на какой-то пристани...

И много было такого, что, горячо волнуя, не позволяло понять людей злые они или добрые? смиренные или озорники? И почему именно так жестоко, жадно злы, так постыдно смиренны?

Я спрашивал об этом повара, но он, окружая лицо своё дымом папиросы, говорил нередко с досадой:

– Эх, что тебя щекотит! Люди, ну, и люди... Один – умный, другой дурак. Ты читай книжки, а не бормочи. В книжках, когда они правильные, должно быть всё сказано...

Церковных (Духовных – в ред. 1960 г.) книг и житий он не любил.

– Ну, это для попов, для поповых сынов...

Мне захотелось сделать ему приятное – подарить книгу. В Казани на пристани я купил за пятак «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», но в тот час повар был пьян, сердит, и я не решился отдать ему подарок и сначала сам прочитал «Предание». Оно мне очень понравилось, – всё так просто, понятно, интересно и кратко. Я был уверен, что эта книга доставит удовольствие моему учителю.

Но, когда я поднёс ему книгу, он молча смял её ладонями в круглый ком и швырнул за борт.

– Вот как твою книгу, дурень! – сказал он угрюмо. – Я ж тебя учу, как собаку, а ты всё хочешь дичь жрать, а?

Топнул ногой и заорал:

– Это – какая книга? Я глупости все уж читал! Что в ней написано правда? Ну, говори!

– Не знаю.

– Так я знаю! Когда человеку отрубить голову, он упадёт с лестницы вниз, и другие уж не полезут на сеновал – солдаты не дураки! Они бы подожгли сено и – шабаш! Понял?

– Понял.

– То-то ж! Я знаю про царя Петра – этого с ним не было! Пошёл прочь...

Я понимал, что повар прав, но книжка всё-таки нравилась мне: купив ещё раз «Предание», я прочитал его вторично и с удивлением убедился, что книжка действительно плохая. Это смутило меня, и я стал относиться к повару ещё более внимательно и доверчиво, а он почему-то всё чаще, с большей досадой говорил:

– Эх, как бы надо учить тебя! Не место тебе здесь...

Я тоже чувствовал – не место. Сергей относился ко мне отвратительно; я несколько раз замечал, что он таскает у меня со стола чайные приборы и продаёт их пассажирам потихоньку от буфетчика. Я знал, что это считается воровством, – Смурый не однажды предупреждал меня:

– Смотри, не давай официантам чайной посуды со своего стола!

Было и ещё много плохого для меня, часто мне хотелось убежать с парохода на первой же пристани, уйти в лес. Но удерживал Смурый: он относился ко мне всё мягче, – и меня страшно пленяло непрерывное движение парохода. Было неприятно, когда он останавливался у пристани, и я всё ждал – вот случится что-то, и мы поплывем из Камы в Белую, в Вятку, а то – по Волге, я увижу новые берега, города, новых людей.

Но этого не случилось – моя жизнь на пароходе оборвалась неожиданно и постыдно для меня. Вечером, когда мы ехали из Казани к Нижнему, буфетчик позвал меня к себе, я вошёл, он притворил дверь за мною и сказал Смурому, который угрюмо сидел на ковровой табуретке:

– Вот.

Смурый грубо спросил меня:

– Ты даёшь Серёжке приборы?

– Он сам берёт, когда я не вижу.

Буфетчик тихонько сказал:

– Не видит, а – знает.

Смурый ударил себя по колену кулаком, потом почесал колено, говоря:

– Пойдите, успеете...

И задумался. Я смотрел на буфетчика, он – на меня, но казалось, что за очками у него нет глаз.

Он жил тихо, ходил бесшумно, говорил пониженным голосом. Иногда его выцветшая борода и пустые глаза высывались откуда-то из-за угла и тотчас исчезали. Перед сном он долго стоял в буфете на коленях у образа с неугасимой лампадой, – я видел его сквозь глазок двери, похожей на червонного туза, но мне не удалось видеть, как молится буфетчик: он просто стоял и смотрел на икону и лампаду, вздыхая, поглаживая бороду.

Помолчав, Смурый спросил:

– Серёжка давал тебе денег?

– Нет.

– Никогда?

– Никогда.

– Он не соврёт, – сказал Смурый буфетчику, а тот негромко ответил:

– Всё равно. Пожалуйста.

– Идём! – крикнул мне повар, подошел к моему столу и легонько щёлкнул меня пальцем в темя. – Дурак! И я – дурак! Мне надо было следить за тобой...

В Нижнем буфетчик рассчитал меня: я получил около восьми рублей первые крупные деньги, заработанные мною.

Смурый, прощаясь со мною, угрюмо говорил:

– Н-ну, вот... Теперь гляди в оба – понимаешь? Рот разевать нельзя...

Он сунул мне в руку пёстрый бисерный кисет.

– На-ка, вот тебе! Это хорошее рукоделье, это мне крестница вышила... Ну, прощай! Читай книги – это самое лучшее!

Взял меня под мышки, приподнял, поцеловал и крепко поставил на палубу пристани. Мне было жалко и его и себя; я едва не заревел, глядя, как он возвращается на пароход, расталкивая крючников, большой, тяжёлый, одинокий...

Сколько потом встретил я подобных ему добрых, одиноких, отломившихся от жизни людей!..

## VII

Дед и бабушка снова переехали в город. Я пришёл к ним, настроенный сердито и воинственно, на сердце было тяжело, – за что меня сочли вором?

Бабушка встретила меня ласково и тотчас ушла ставить самовар; дед насмешливо, как всегда, спросил:

– Много ли золота накопил?

– Сколько есть – всё моё, – ответил я, садясь у окна. Торжественно вынул из кармана коробку папирос и важно закурил.

– Та-ак, – сказал дед, пристально всматриваясь в мои действия, – вот оно что. Чёртово зелье куришь? Не рано ли?

– Мне вот даже кисет подарили, – похвастал я.

– Кисет! – завизжал дедушка. – Ты что, дразнишь меня?

Он бросился ко мне, вытянув тонкие, крепкие руки, сверкая зелёными глазами; я вскопчил, ткнул ему головой в живот, – старик сел на пол и несколько тяжёлых секунд смотрел на меня, изумлённо мигая, открыв тёмный рот, потом спросил спокойно:

– Это ты меня толкнул, деда? Матери твоей родного отца?

– Довольно уж вы меня били, – пробормотал я, поняв, что сделал отвратительно.

Сухонький и лёгкий, дед встал с пола, сел рядом со мною, ловко вырвал папиросу у меня, бросил её за окно и сказал испуганным голосом:

– Дикая башка, понимаешь ли ты, что это тебе никогда богом не простится, во всю твою жизнь? Мать, – обратился он к бабушке, – ты гляди-ка, он меня ударил ведь? Он! Ударил. Спроси-ка его!

Она не стала спрашивать, а просто подошла ко мне и схватила за волосы, начала трепать, приговаривая.

– А за это – вот как его, вот как...

Было не больно, но нестерпимо обидно, и особенно обижал ехидный смех деда, – он подпрыгивал на стуле, хлопая себя ладонями по коленям, и каркал сквозь смех:

– Та-ак, та-ак...

Я вырвался, выскочил в сени, лёг там в углу, подавленный, опустошённый, слушая, как гудит самовар.

Подошла бабушка, наклонилась надо мной и чуть слышно шепнула:

– Ты меня прости, ведь я не больно потрепала тебя, я ведь нарочно! Иначе нельзя, – дедушка-то старик, его надо уважить, у него тоже косточки наломаны, ведь он тоже горя хлебнул полным сердцем, – обижать его не надо. Ты не маленький, ты поймешь это... Надо понимать, Олёша! Он – тот же ребёнок, не боле того...

Слова её омывали меня, точно горячей водой, от этого дружеского шопота становилось и стыдно и легко, я крепко обнял её, мы поцеловались.

– Иди к нему, иди, ничего! Только не кури при нём сразу-то, дай привыкнуть...

Я вошёл в комнату, взглянул на деда и едва удержался от смеха – он действительно был доволен, как ребёнок, весь сиял, сучил ногами и колотил лапками в рыжей шерсти по столу.

– Что, козёл? Опять бодаться пришёл? Ах ты, разбойник! Весь в отца! Фармазон, вошёл в дом – не перекрестился, сейчас табак курить, ах ты, Бонапарт, цена-копейка!

Я молчал. Он истёк словами и тоже замолчал устало, но за чаем начал поучать меня:

– Страх перед богом человеку нужен, как узда коню. Нет у нас друга, кроме господ! Человек человеку – лютей враг!

Что люди – враги, в этом я чувствовал какую-то правду, а всё остальное не трогало меня.

– Теперь опять иди к тётке Матрёне, а весной – на пароход. Зиму-то проживи у них. А не сказывай, что весной уйдёшь от них...

– Ну, зачем же обманывать людей? – сказала бабушка, только что обманув деда притворной трёпкой, данной мне.

– Без обмана не проживёшь, – настаивал дед, – ну-ка скажи – кто живёт без обмана?

Вечером, когда дед сел читать псалтырь, я с бабушкой вышел за ворота, в поле; маленькая, в два окна, хибарка, в которой жил дед, стояла на окраине города, «на задах» Канатной улицы, где когда-то у деда был свой дом.

– Вот куда заехали! – посмеиваясь, говорила бабушка. – Не может старик места по душе себе найти, всё переезжает. И здесь нехорошо ему, а мне хорошо!

Перед нами раскинулось версты на три скудное дёрновое поле, изрезанное оврагами, ограниченное гребнем леса, линией берёз казанского тракта. Из оврагов высунулись розгами ветки кустарника, лучи холодного заката окрасили их кровью. Тихий вечерний ветер качал серые былинки; за ближним оврагом тоже, как былинки, – маячили тёмные фигуры мешанских парней и девиц. Вдали, направо, стояла красная стена старообрядческого кладбища, его звали «Бугровский скит», налево, над оврагом, поднималась с поля тёмная группа деревьев, там – еврейское кладбище. Всё вокруг бедно, всё безмолвно прижималось к израненной земле. Маленькие домики окраины города робко смотрели окнами на пыльную дорогу, по дороге бродят мелкие, плохо кормленные куры. У Девичьего монастыря идёт стадо, мычат коровы; из лагеря доносится военная музыка – ревут и ухают медные трубы.

Идёт пьяный, жестоко растягивая гармонику, спотыкается и бормочет:

– Я дойду до тебя... обязательно...

– Дурачок, – щурясь на красное солнце, говорит бабушка, – куда тебе дойти? Упадёшь скоро, уснёшь, а во сне тебя оберут... И гармония, утеха твоя, пропадёт...

Я рассказываю ей, как жил на пароходе, и смотрю вокруг. После того, что я видел, здесь мне грустно, я чувствую себя ершом на сковороде. Бабушка слушает молча и внимательно, так же, как я люблю слушать её, и, когда я рассказал о Смуром, она, истово перекрестясь, говорит:

– Хороший человек, помоги ему богородица, хороший! Ты, гляди, не забывай про него! Ты всегда хорошее крепко помни, а что плохо – просто забывай...

Мне очень трудно было рассказать ей, почему меня рассчитали, но, скрепя сердце, я рассказал. Это не произвело на неё никакого впечатления, она только заметила равнодушно:

– Мал ты ещё, не умеешь жить...

– Вот все говорят друг другу: не умеешь жить, – мужики, матросы, тётка Матрёна – сыну, а что надо уметь?

Поджав губы, она покачала головой.

– Уж этого я не знаю!

– А тоже говоришь!

– Отчего не сказать? – спокойно молвила бабушка. – Ты не обижайся, ты еще маленький, тебе и не должно уметь. Да и кто умеет? Одни жулики. Вон дедушка-то и умён и грамотен, а тоже ничего не сумел...

– Ты сама-то хорошо жила?...

– Я? Хорошо. И плохо жила – всяко...

Мимо нас не спеша проходили люди, влача за собою длинные тени, дымом вставала пыль из-под ног, хороня эти тени. Вечерняя грусть становилась всё тяжелей, из окон изливался ворчливый голос деда:

– «Господи, да не яростию твоею обличиши мене, ниже гневом твоим накажеши мене...»

Бабушка сказала, улыбаясь:

– Надоел же он богу-то, поди! Каждый вечер скулит, а о чём? Ведь уж старенький, ничего не надо, а всё жалуется, всё топорщится... Бог-от, чай, прислушается к вечерним голосам да и усмехнётся: опять Василий Каширин бубнит!.. Пойдём-ка спать...

Я решил заняться ловлей певчих птиц; мне казалось, что это хорошо прокормит: я буду ловить, а бабушка – продавать. Купил сеть, круг, западни, наделал клеток, и вот, на рассвете, я сижу в овраге, в кустах, а бабушка с корзиной и мешком ходит по лесу, собирая последние грибы, калину, орехи.

Только что поднялось усталое сентябрьское солнце; его белые лучи то гаснут в облаках, то серебряным веером падают в овраг ко мне. На дне оврага ещё сумрачно, оттуда поднимается белёсый туман; крутой глинистый бок оврага тёмн и гол, а другая сторона, более пологая, прикрыта жухлой травой, густым кустарником в жёлтых, рыжих и красных листьях; свежий ветер срывает их и мечет по оврагу.

На дне, в репьях, кричат щеглята, я вижу в серых отрепьях бурьяна алые чепчики на бойких головках птиц. Вокруг меня щёлкают любопытные синицы; смешно надувая белые щеки, они шумят и суетятся, точно молодые кунавинские мещанки в праздник; быстрые, умненькие, злые, они хотят всё знать, всё потрогать – и попадают в западню одна за другою. Жалко видеть, как они бьются, но моё дело торговое, суровое; я пересаживаю птиц в запасные клетки и прячу в мешок, – во тьме они сидят смиренно.

На куст боярышника опустилась стая чижей, куст облит солнцем, чижи рады солнцу и щебечут ещё веселей; по ухваткам они похожи на мальчишек-школьников. Жадный, домовитый сорокопут запоздал улететь в тёплые края, сидит на гибкой ветке шиповника, чистит носом перья крыла и зорко высматривает добычу чёрными глазами. Вспорхнул вверх жаворонком, поймал шмеля, заботливо насадил его на шип и снова сидит, вращая серой, вороватой головкой. Бесшумно пролетела вещая птица шур, предмет жадных мечтаний моих, – вот бы поймать! Снегирь, отбившийся от стаи, сидит на ольхе, красный, важный, как генерал, и сердито поскрипывает, качая чёрным носом.

Чем выше солнце, тем больше птиц и веселее их щебет. Весь овраг наполняется музыкой, её основной тон – непрерывный шелест кустарника под ветром; задорные голоса птиц не могут заглушить этот тихий, сладко-грустный шум, – я слышу в нём прощальную песню лета, он нашептывает мне какие-то особенные слова, они сами собою складываются в песню. А в то же время память, помимо воли моей, восстанавливает картины прожитого.

Откуда-то сверху кричит бабушка:

– Ты – где?

Она сидит на краю оврага, разостлала платок, разложила на нём хлеб, огурцы, репу, яблоки; среди всей этой благостыни стоит, блестя на солнце, маленький, очень красивый гра-нёный графин, с хрустальной пробкой – головой Наполеона, в графине – шкалик водки, настойной на зверобое.

– Хорошо-то как, господи! – благодарно говорит бабушка.

– А я песню сложил!

– Да ну?

Я говорю ей что-то, похожее на стихи:

Всё ближе зима, всё заметнее,  
Прощай, моё солнышко летнее!..

Но она, не дослушав меня, перебивает:

– Такая песня – есть, только она – лучше!

И нараспев говорит:

Ой, уходит солнце летнее  
В тёмные ночи, за далёкие леса!  
Эх, осталася я, девушка,  
Без весенней моей радости, одна...

Выйду ль утром за околицу,  
Вспомню майские гулянки мои,  
Поле чистое нерадостно глядит,  
Потеряла я в нём молодость свою.

Ой, подруженьки, любезные мои!  
Уж как выпадет да первый лёгкий снег,  
Выньте сердце из белой моей груди,  
Схороните моё сердце во снегу!..

Мое авторское самолюбие нимало не страдает, мне очень нравится песня и очень жалко девушку.

А бабушка говорит:

– Вот как горе поется! Это, видишь, девица сложила: погуляла она с весны-то, а к зиме мил любовник бросил её, может, к другой отошёл, и восплакала она от сердечной обиды... Чего сам не испытаеть – про то хорошо-верно не скажешь, а она, видишь, как хорошо составила песню!

Когда она впервые продала птиц на сорок копеек, это очень удивило её.

– Гляди-ка ты! Я думала – пустое дело, мальчишья забава, а оно вон как обернулось!

– Дёшево ещё продала...

– Да ну?

В базарные дни она продавала на рубль и более, и всё удивлялась: как много можно заработать пустяками!

– А женщина целый день стирает бельё или полы моет по четвертаку в день, вот и пойми! А ведь нехорошо это! И птиц держать в клетках нехорошо. Брось-ка ты это, Олёша!

Но я очень увлекся птицеводством, оно мне нравилось и, оставляя меня независимым, не причиняло неудобств никому, кроме птиц. Я обзавёлся хорошими снастями; беседы со старыми птицеловами многому научили меня, – я один ходил ловить птиц почти за тридцать вёрст, в Кстовский лес, на берег Волги, где, в мачтовом сосняке, водились клесты и ценимые любителями синицы-аполлоновки – длиннохвостые белые птички редкой красоты.

Бывало – выйдешь с вечера и всю ночь шлёпаешь по казанскому тракту, иногда – под осенним дождём, по глубокой грязи. За спиною обшитый клеёнкой мешок, в нём садки и клетки с приманочной птицей. В руке солидная ореховая палка. Холодно и боязно в осенней тьме, очень боязно!.. Стоят по сторонам дороги старые, битые громом берёзы, простирая над головой моей мокрые сучья; слева, под горой, над чёрной Волгой, плывут, точно в бездонную пропасть уходя, редкие огоньки на мачтах последних пароходов и барж, бухают колёса по воде, гудят свистки.

С чугуновой земли встают избы придорожных деревень, подкатываются под ноги сердитые, голодные собаки, сторож бьёт в било и пугливо кричит:

– Кто идёт? Кого черти носят – не к ночи будь сказано?

Я очень боялся, что у меня отнимут снасти, и брал с собой для сторожей пятаки. В деревне Фокиной сторож подружился со мной и всё ахал:

– Опять идёшь? Ах ты, бесстрашный, непокойный житель ночной, а?

Звали его Нифонт, был он маленький, седенький, похожий на святого, часто он доставал из-за пазухи репу, яблоко, горсть гороху и совал мне в руки, говоря:

– На-ка, друг, я те гостинцу припас, покушай в сладость.

И провожал меня до околицы.

– Айда, с богом!

В лес я приходил к рассвету, налаживал снасти, развешивал манков, ложился на опушке леса и ждал, когда придёт день. Тихо. Всё вокруг застыло в крепком осеннем сне; сквозь сероватую мглу чуть видны под горою широкие луга; они разрезаны Волгой, перекинулись через неё и расплылись, растаяли в туманах. Далеко, за лесами луговой стороны, восходит, не торопясь, посветлевшее солнце, на чёрных гривах лесов вспыхивают огни, и начинается странное, трогающее душу движение: всё быстрее встаёт туман с лугов и серебрится в солнечном луче, а за ним поднимаются с земли кусты, деревья, стога сена, луга точно тают под солнцем и текут во все стороны, рыжевато-золотые. Вот солнце коснулось тихой воды у берега, – кажется, что вся река подвинулась, подалась туда, где окунулось солнце. Восходя всё выше, оно, радостное, благословляет, греет оголённую, озябшую землю, а земля кадит сладкими запахами осени. Прозрачный воздух показывает землю огромной, бесконечно расширяя её. Всё плывет вдоль и манит дойти до синих краёв земли. Я видел восход солнца в этом месте десятки раз и всегда предо мною рождался новый мир, по-новому красивый...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.